

АЛЕКСАНДР
НОВОСЕЛЬЦЕВ

Волжский
роман



Дубовый дым

Волжский роман

Александр Новосельцев

Дубовый дым

«ВЕЧЕ»

2008

Новосельцев А. В.

Дубовый дым / А. В. Новосельцев — «ВЕЧЕ»,
2008 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-8605-0

В новый сборник произведений Александра Новосельцева включены повести и рассказы, в которых преобладает тема родной земли, уходящей русской деревни и ее жителей. По словам В. Распутина, «Новосельцев цельный и глубокий русский прозаик, продолжающий классическую традицию нашей словесности – не натужно, не от начитанности только, а свободно и органично, по природному велению». Книги А. Новосельцева отмечены Большой литературной премией России, Всероссийской премией «Имперская культура», премиями имени Шукшина и Бунина.

ISBN 978-5-4484-8605-0

© Новосельцев А. В., 2008

© ВЕЧЕ, 2008

Содержание

Хозяин	6
Поздняя весна	6
Завещание	11
Люба	18
Самовар	23
Тулуп	26
Хозяин	30
Сваты	35
Про баню, ботинки и хороших людей	46
Партийное задание	57
Анестезия	61
Рождественское чтение	69
Братка	73
Гусиха	81
Три на четыре	92
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Александр Новосельцев
Дубовый дым
Сборник

© Новосельцев А.В., 2021

© ООО «Издательство «Вече», 2021

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021

Сайт издательства www.veche.ru

Хозяин

Поздняя весна

У Петра Лагутина крепкое хозяйство: крестовый дом, баня с кухней, сад в девять яблоневых корней, крытый баз на корову и четыре свиньи. За баней – огород и бахча, позади которых в пологих берегах бежит лазурная речка. Да и сам Петро крепок и черен по-молодому, в волосах ни сединки. Несмотря на то, что в разговоре с другими бывает он резок, с женой своей он больше молчит. Кажется, та имеет над ним какую-то власть. Да и не власть вовсе, а так: то ли жаль ее бывает, то ли винится перед ней за что-то давнее. Кто ее знает! – а только поругается с ней из-за пустяка, помается немного и виновато подходит:

– Ну, ты это, ладно... не серчай.

Тридцать с лишним лет прожили вместе, четверых детей вырастили и в люди отправили, а все как-то не мог привыкнуть к ней; все казалось ему, что через силу она как-то жила, пресно. Ни праздник ей не в праздник, ни горе ей не в горе. Вроде как что-то давнее она не могла простить ему.

Лет семь назад ездил Петро в город продавать мясо, а вернулся обратно без денег, без обновок, что заказала ему жена. Глянулась Петру на базаре гармошка. Рыжий парень, поставив ногу на скамейку, наклонив голову, словно прислушиваясь, так наяривал на ней, постукивал в такт носком по лавке, что у Петра не было сил уйти. Стоял и слушал. Отыграв, рыжий спросил цену. А цену, Петро слышал, продавец назвал ломовую. Парень только свистнул, пробовал торговаться, но продавец гнул свою цену и не уступал ни копейки. Вздохнув, парень застегнул ремешки и поставил гармонь на скамейку. Петро пощупал карман, в котором лежали деньги, и решился...

Полдня Зинаида бушевала.

– От паразит! – кричала она, шлепая его по спине деревянным кружком, на котором только что чистила рыбу. – Я тебе чего говорила купить? А?

Петро сидел, стойко перенося удары, наклонившись и сгребая в руках гармонь, чтобы ей не попало, тихо пытался вставить два слова.

– Да ты... ты погоди...

Зинаида снова бралась его охаживать.

– Я т-те подожду. Я т-те подожду!.. Неси ее обратно, а деньги мне положи. Щас же! Щас же положи, паразит!

– Где я тебе теперь этого мужика найду?

– Где хочешь бери, а мне штоб щас же деньги были!

Петро был неприступен; доска наконец раскололась надвое, и Зинаида, устав, ушла голосить в избу, а он стоял среди двора, с облегчением чувствуя, как затекают, ноют спина и плечи. Поводя ими, проверил: целы ли кости, подумав, ушел в кухню.

Две недели он жил в бане. Ходил на реку, удил рыбу и жарил ее там же на костре. Поев, вытирал об траву жирные руки, умывался, брал гармонь и, сидя на лодке, глядел на светлеющую на закате воду, тихонько играл, вспоминал старые песни:

Ой, как под грушею-грушею,
Под зеленой грушею,
Там сидела парочка —
Казачок да бабочка.

Голос этой гармошки Петро помнил хорошо. Помнил и то, как в последний раз видел ее. В голодную военную зиму. Мать пришла с фермы после вечерней дойки и, войдя в избу, устало села у двери на лавке. Снег таял на валенках – не было сил снять их. Сестра Наташка высунулась из-за печной занавески:

– Ма! Хлебушка принесла?

Губы матери дрогнули. Она глянула на Петра, сидевшего за уроками:

– Петь, а может, давай гармонь продадим?

– А папка как же? Придет, а гармонии нет.

Мать уткнулась в платок, молча затрясла головой.

– Мам! Ты чего?

Та вытерла глаза, вздохнула:

– Сыграй, сынок, «Под грушею...»

Он играл, а она тихо пела, покачиваясь и вытирая глаза. Петька с Натальей подпевали:

Там сидят они вдвоем, разговаривают.

Ты гуляй, гуляй, бабеночка,

Поколь волюшка твоя.

Муж со службицы придет,

Всю-то он волюшку уймет.

Утром, пока они с Наташкой спали, мать положила гармонь в мешок, уехала в город.

Оглядев гармонь снаружи и изнутри, порадовался Петро, что была она в хороших руках. Прежний хозяин подклепал голоса, да и вид у нее был как у новой – блестела лаком. Вспоминаться легко, быстро. Пальцы, удивляясь, заметил Петро, имели свою память, только чуть запинались, медлили.

Вставал Петро по-прежнему рано, доил корову (у Зинаиды третий год болела рука), давал корм пороссятам. Две недели спустя, когда нес ведра к закуту, из дома вышла жена. Пройдя через двор, остановилась у двери в кухню, не глядя на Петра, спросила:

– Ну, мы чего в этот год – картошку сажать, что ли, не будем?

Петро поставил ведра на землю, светло глянул на жену.

– Да я уж и сам думал. Пора, наверное, семенную из погреба вынимать.

– Чего уж тут думать. – Зинаида зашла в кухню и уже оттуда добавила: – Давай иди завтракать да начнешь.

С тех пор как Петро купил гармошку, жизнь его изменилась, а сам он словно расцвел. И хотя Зинаида, как только он брал гармонь, говорила ему: «Иди рычи в кухню», – но ни выбросить гармонь, ни вернуть за нее деньги уже не требовала. И причины на то были.

Как-то незаметно перевелись на селе гармонисты. И не то чтобы их не было совсем, а просто не слышно их стало, как прежде было по вечерам, когда с разных концов сходились к реке гармошки, ведя за собой девок и парней. Повырастали гармонисты, попереженились, а сынам их больше нравились кнопки магнитофонов, а не гармоней.

Петрову игру односельчане оценили сразу. Приходившие вечерами на берег на его игру бабы и девки быстро сладились на голоса, вспомнили старые песни и пели на удивление так, что у самих мурашки по рукам бегали. Допев песню, они сами удивлялись тому, что и слова не забылись и голоса так подобрались, что на второй же вечер к лодке пришел старик Гусев, рыбачивший за речным поворотом и, еще подходя, удивленно зашумел:

– Итишкина мать! А я думал, радива на берегу играет!

Из вечеринок за лето сложился хор, который стали числить при сельском клубе. На районном, а потом и областном смотре хор занимал первые места. Зинаида окончательно успокоилась, когда Петра стали звать на свадьбы, и не только по селу, а и в город. Всегда ездила

с ним и на свадьбы, и на смотрины, но сама не пела и не плясала. За свадьбы брала у хозяев деньги сама, пересчитывала, следила, чтобы Петро не принял лишнего да на баб не заглядывался.

– Что ты мотаешься за мной, как банный лист. Срамишь только, – говорил ей Петро, собираясь на очередную свадьбу. – Хоть бы пела, а то – так... сидишь как надзиратель. Ни богу свечка, ни черту кочерга.

– Мне с вами только и осталось, что песни орать. Напьются, как эти, разорутся кто в лес, кто по дрова, – говорила Зинаида, доставая новый платок и глядясь в зеркало.

Петру и самому не нравились свадьбы у чужих людей. До денег у него никогда жадности не было, хотя свадебная выручка сильно поправляла домашний бюджет. Кроме телевизора Зинаида купила новую мебель, собирала детям: «как приедут». Другое дело – выйти в праздник с гармонью к речке. Собирались соседи, стелили на лодке скатерть, приносили кто закуску, кто бутылку самогону «для разгону». Жгли, как в молодости, костер. Пригубив по рюмке-другой, вспоминали прежние, старинные песни. Расходясь в потемках, делали круг по селу. Вот тут-то, на кругу, особенно брало Петра за сердце, легко и громко выпевалось ему:

По родимой по деревне
Мы пройдем в последний раз.
Скоро черный паровозик
Увезет далеко нас.
Стели, мать, постелюшку
Последнюю неделюшку,
А на той неделюшке
Расстелем мы шинелюшки.

Зинаиде эти хождения к реке не нравились. Сама она туда никогда не ходила, смотрела дома телевизор или просто сидела на крыльце, ждала, когда звуки гармони будут приближаться.

– Что? Набрался опять? – говорила она, заслышав в темноте шаги мужа. Петро выходил из темноты на свет, словно выныривал из праздника в будни:

– Ну что ты каждый раз одно и то же? Видишь же – непьяный я.

– «Непьяный». Когда хоть ты ее напьешься. Накаются и орут, как бешеные.

– Да не пьяный я, говорю. По две рюмки только... Душа песни просит.

– Душа у него... Выпить она у тебя просит, а не песен.

Петро нехорошо прищурился, катая желваки на скулах.

– А ты не знаешь, чего мне дома-то не поется?

– Не наливают, вот тебе и не поется. А! Ну тебя! – Зинаида махала рукой, вставала, выключала свет на крыльце. – Иди вон в кухню, проспись. Глаза бы мои тебя не видели, пьяницу.

Она хлопала дверью, шелкала задвижкой, и пригнеталась душа его:

– Да когда хоть ты... От же! Люди радуются, праздник у всех, а ты...

Постояв, поиграв скулами, уходил в кухню.

В эту весну, в ночь, когда зашумела, вскрывшись, река, умерла бабка Курачиха, жившая через два дома от Лагутиных. Несмотря на девятый десяток, была она суха и пряма, бодро выходила к реке. Запевала она тихим, чистым голосом старые, давно забытые песни. Бабы прислушивались куплет-другой, потом потихоньку начинали подтягивать, а к концу песни, совсем уловив мелодию, пели всем хором, запоминали слова.

На похороны Курачихи из города приехала дочь ее, Людмила. Она и прежде изредка приезжала проведать мать. Сердце Петра вздрагивало, когда он видел ее по-прежнему легкую фигуру, светлые волосы и ясные глаза.

Ночью после похорон ему не спалось. Луна через окошко лупила прямо в глаза. По дыханию жены было слышно, что она тоже не спит. Казалось, что она что-то сказать хочет или спросить.

– Что? Екнуло сердечко-то? – По сбившемуся голосу жены Петро понял, что она долго решалась, переживала, прежде чем спросить.

– С чего? – ответил он сразу, стараясь говорить как обычно.

– Приехала... твоя. Останется, говорят, жить в материном доме.

Петро не ответил, сердце его, как ему показалось, затаилось. Лежал, не шевелясь, наверное, с час, пока луна не переплыла окошко. Ждал, что Зинаида что-то спросит, но она помолчала, два раза вздохнула и, как ему показалось, уснула. Он подождал еще немного, тихо встал, оделся.

Чтоб не мешать жене, ушел в баню, сел на приступку, закурил. Небо вызвездило, от реки тянуло холодом, пробовали голос первые сверчки. В такую ночь легко думается и вспоминается. А вспомнилось ему то, что прятал он в самых глубоких уголках своей души. Как тридцать лет назад теплой майской ночью этим же берегом шел он в первый раз провожать Людмилу с вечерок, как сидели они на лодке до розовеющего неба, как страшно колотилось сердце, когда они дошли до калитки, как потом... Потом в село приехала бригада электриков: ставили столбы, тянули провода. И Людмила, когда парень-монтер пригласил ее танцевать в клубе, пошла.

Дрались до крови, по-честному, один на один. Парень был крепкий, досталось же хорошо обоим, пока из клуба не выбежала Людмила, встала между ними. Жалела же она, как показалось Петру, больше того парня. Проводив все же до дома молчащую Людмилу, недолго постояв один, молча поиграл скулами, решил. Оделись они тогда с крестным, дядей Василием по-праздничному, взяли с собой бутылку и завалились к Курачевым свататься. Но Людмила так и не вышла к ним. Отказала. Скрипя зубами, вышел он тогда с дядькой на улицу, но оглобли разворачивать уже не стал; ополоснул водой из стоявшего на колодезном срубе ведра разгоряченное лицо, решительно сказал дядьке:

– Пошли к Зинке!

Ее-то и сосватали, да и дядька рад был – не зря ноги били. Свадьба была для Петра, как в горячке. А Людмила следом вышла замуж за того монтера и с ним уехала в город. Вроде, как думал Петро, доказали что-то друг дружке.

Казалось Петру, что все забылось, стерлось за столько лет, но вот вспомнилось же все до мелочи: и какая-то звенящая темнота той далекой ночи, и леденящая ноги роса, и светлый запах ее волос. Ведь столько лет прожил, а эти пропавшие и никогда и ничем не напоминавшие о себе запахи и звуки оказались рядом, то ли разлитыми в прохладном ночном воздухе, то ли таившимися в нем самом. С этим новым для него чувством он принес из кухни гармонь и просидел на берегу, на лодке всю ночь, так и не развернув ее, а лишь гладил лакированные бока с перламутровыми цветочками на ней и слушал то ли свой, то ли голос гармонии:

Ой, как под грушею-грушею,
Под зеленой грушею,
Там сидела парочка —
Казачок да бабочка.

Утром, отогнав корову в стадо, он подходил к дому. Над ним из печной трубы по туманному проулку нехотя стелился дым. Петро удивился:

– Чего это Зинаида с утра затопила? Замерзла, что ли? – Днем уже было тепло, и подтапливали они чуть-чуть и только на ночь.

Взойдя на крыльцо и разуваясь, он спросил:

– Зин, ты чего затопила? День, смотри, хороший будет, теплый.

Жена сидела у печи. Рядом лежал топор. В руке у нее блестела лаком дощечка с перламутровыми цветочками, а в глазах стояли слезы.

Завещание

Павлу Кутову от отца пришло письмо. Писать письма отец не любил, и за пятнадцать лет, пока сын жил в городе, присылал их раза два или три. Возвращаясь с работы, Павел вынул его из почтового ящика и, поднимаясь по лестнице на свой этаж, подумал: не случилось ли чего?

Характером Павел был весь в отца и писать тоже не любил. Ни дня рождения, ни больших праздников в ближайшее время не намечалось, поэтому он наверняка знал, что причина, заставившая отца написать, была важной. Последний раз он видел отца давно, после похорон матери. Перед дверью квартиры он не выдержал, разорвал конверт. В нем были два листочка. Павел вынул их и, еще не читая, отметил, что первый был казенный, напечатанный на машинке, а на втором – само отцово письмо, написанное неровным, словно незнакомым, почерком.

Павел сел на кухне, стал читать. Половинка тетрадного листка была исписана с одной стороны полностью, две строчки переходили на другую сторону; видно, отцу хотелось, чтобы письмо не показалось коротким: скажут, в кои-то веки собрался, а написать ничего не написал. Из письма кроме обычных слов о родне Павел выяснил, что у отца весной был инсульт и что два месяца он пролежал в больнице и теперь пишет левой рукой, потому что правая сторона у него отнималась и рука теперь *«плохо слушается»*. А ходит он теперь с бадиком, и то недалеко. Павел дошел до слов: *«привет внучке и жене Валентине»* и, отложив письмо, задумался, глядя, как жена крутится у плиты.

– Ну и чего он там пишет? – Валентина отошла от плиты.

Павел кивнул на письмо:

– Инсульт у него был. Говорит, лежал в больнице.

– А-а... – сочувственно сказала жена. – Ну и как он теперь?

– Да хожу, говорит, с бадиком только.

– А это что за бумага? – Валентина кивнула на другой листок.

– Сейчас гляну. – Павел развернул лист. – Завещание, – прочел он и стал читать про себя.

Дочитав, перечитал его еще раз, чего-то не понял.

– И что? – Валентина ждала.

Павел поднял на нее глаза и сказал, как прочитал:

– Сыну моему, Кутову Павлу Ивановичу, и супруге... – Тут он заглянул в листок. – Леонтьевой Марии Михайловне. В равных долях. Все имущество.

Валентина взяла листок из его руки, нашла очки на холодильнике, шевеля губами, прочла. Глянула на Павла через очки:

– Что за супруга – Мария Михайловна?

Павел пожал плечами:

– Не знаю...

Мать Павла умерла пять лет назад. Он успел съездить на похороны, и потом, спустя ровно год, проведая отца. Тот жил один, и Павлу видно было, как сдал тогда отец, похудел, но хозяйство старался вести, как и при матери, даже корову не продал.

– Чего же это он про нее ничего не сказал раньше? Письмо хоть бы написал.

– А чего писать-то. Нам эти письма писать...

– Да, от вас дожدهшься слов-то. Хоть клещами тяни. Да и отец тоже... Выходит, с полгода как хватило его, да еще женился – и хоть полслова от него. – Валентина присела на стул, через стол внимательно посмотрела на Павла. – А ведь там дом, корова, мотоцикл. А земля какая!

Павел изумился:

– Да? Ты гля, вспомнила все! Сама десять лет не ездила, а теперь все вспомнила.

Валентина поглядела на него, как на глупенького.

– Да, поездишь к тебе на Алтай – без копейки останешься. А я не миллионерша, между прочим, чтоб такие деньжищи проматывать! – Валентина наклонилась к нему, строго постукала пальцем по столу: – А она, между прочим, Мария Михайловна эта, отца-то враз округила, если он одним махом на нее все отписывает. Не-е-ет, ты, Паша, давай не зевай!

– Чего – «не зевай»? – Павел смотрел, как она, вытерев руки, достала из шкафа банку из-под чая, стала пересчитывать лежавшие в ней деньги. Пересчитав, с минуту что-то поприкидывала про себя и решительно сказала:

– Давай-ка, Паша, поезжай!

За трое суток, что Павел ехал в поезде, много чего передумалось ему. О чем думал? Об отце. И получалось, что отца-то он почти не знал. Нет, стоило ему закрыть глаза, и лицо отца, и его чуть сутулая фигура стояли перед ним, как на фотографии. А вот фотографий отцовых у него дома не было. Ни одной. Да и в суете жизни отца он почти не вспоминал. А вот как прочел неровные его строчки, представил его стоящим у калитки с бадиком, так словно сжалось его сердце. Жалко как-то становилось отца, и от этого еще больше удивлялся Павел: как-то и не мог он раньше представить, что отца, здорового и сильного, ни разу не пожаловавшегося на свое здоровье или чьи-то обиды; отца, которого он видел каждый день, пока не ушел в армию, можно жалеть. Вот мать – другое дело! Мать ему было жалко. И, оказывается, не только от того, что, бывало, отец по молодости выпивал и, приходя домой, так ревновал мать, что та брала маленького Пашку и его младшую сестренку и уходила к своей матери. Нет, он никогда ее и пальцем не тронул, отец-то, но тарелки бил и страшно скрипел зубами, стуча кулаком по столу. Утром, протрезвев, приходил к теще, но в дом не заходил, молча, с виноватым видом, сидел на крыльце. Мать, помедлив, брала ведра, обойдя его, выходила из дому, шла к колодцу за водой, кормила скотину, а он сидел, держа на коленках его, Пашку, и Людку, гладил их по головам большой шершавой ладонью. И все – молча. Пашка помнил, как у него, маленького, словно что-то болело в груди от этого их молчанья. Потом мать оттаивала. Переделав дела, она выходила на крыльцо с узелком на руке и, поправив платок, глядела на колодезный журавель, вздыхала и говорила, будто бы им, ребятишкам:

– Ну, что, архаровцы, пойдем домой, поглядим, как там папка нам избу вымел.

Осколки битой посуды отец, действительно, выметал каждый раз сам. И мать, как теперь понимал Павел, любила отца, но никогда открыто это не показывала. Никаких серьезных разговоров отец с Пашкой никогда не вел. Вроде как стеснялся этого, что ли. Другое дело – мать. Она с ним и задачки решала, а там, где грамоты у нее не хватало, брала сметкой, житейским опытом. Была она улыбчива, сыпала присказками, которые хорошо знала вся ее какая-то веселая родня. Отцова родня – все молчуны, лишнее слово считалось у них чем-то вроде порока и не одобрялось. Да, пожалуй, разговоры с нравоучениями отец никогда не заводил. Просто Пашка был рядом, когда отец делал скворечни, отпиливал или строгал доску, забивал гвозди, а потом стоял под деревом, привязывал веревку к скворечнику, стоял рядом с отцом, глядя, как влетали в него и вылетали веселые скворцы. Или ездил с ним на мотоцикле на рыбалку, чистил рыбу для ухи, ходил с ним на покос или за дровами. Казалось, отец все может делать и будет таким всегда. Павлу все отцовские науки в жизни тоже пригодились, и за это, и за то, что он живет на свете, ему хотелось просто и от души сказать отцу простые добрые слова, которые он втайне прятал под сердцем и которые так боялся сказать. У Павла даже перехватило дыхание, как он представил, что все это он скажет отцу. От этой мысли у него защипало в носу, он закрыл глаза и постарался больше ни о чем другом не думать: так это было теперь важно для него, а уж для отца, думал он, – тем более.

До села добрался к вечеру. У дома крестного, дяди Володи, в потемках сидела его жена, тетя Рая. Окликнула Павла, когда тот поравнялся с ней:

– Паша, ты?

– Я, тетя Рая, – подошел, приобнял ее. Она так и сидела на лавочке не вставая, держа его за рукав на вытянутой руке.

– Как на отца-то своєю стал похож! Вылитый. А я смотрю, думаю: откуда это Иван идет в эту пору. Да и из дому он теперь почти не ходит.

– Что, плох совсем?

– Ну, теперь-то ничего, я у него позавчера была, проводывала. Сама-то тоже вот не летаю, топ-топ потихоньку.

– Да-а... А где же крестный? Дома?

Тетя Рая взяла Павла обеими руками, глядела блестящими от слез глазами.

– Второй год как помер.

Помолчали.

– Ну, тетя Рая, пойду домой.

Она придержала его:

– Так ты ее еще не видел?

– Нет. Только что приехал.

– А-а... Ты смотри, на отца не обижайся. Они вроде и неплохо живут. Сам увидишь, ступай. Заходи еще-то!

– Зайду.

Свернул в проулок, ведущий вниз, к реке и остановился. Сверху, как на ладони, виднелся дом, сараи во дворе, чернел вскопанный под зиму огород с дымящей трубой баней, а за ними светлела река с полосой леса на ближних островах. Знакомо пахло дымом, прелой листвой и речкой. В доме неярким светом желтели два окошка. Уже у калитки его учуяли собаки, подняли шум. Теперь можно и не стучать, хозяин знает: так лают не по случайному прохожему, а по гостям. На веранде зажегся свет, мелькнула тень. Сердце Павла дрогнуло, когда он представил отца постаревшим и беспомощным. Во дворе раздались шаги, звякнула щеколда. Калитка отворилась, и Павел увидел невысокую женщину с черными внимательными глазами на круглом лице. Она так и стояла, держась за калитку и разглядывая гостя. Павел кашлянул запершившим сразу горлом.

– Мария Михайловна?

Глаза женщины оживились.

– Павел! Здравствуй, здравствуй, пойдем в избу. – И, пропустив его, пошла следом. Пока Павел разувался в сенях и ставил сумки, она открыла дверь в избу. – Ваня, Вань, ты посмотри, какой у нас гость.

Из избы, прихрамывая, вышел отец. Почти не изменившийся, только похудевший и чуть осунувшийся. Шерстяной спортивный костюм даже молодил его.

– О-о-о! Пашка приехал! – Отец бодрился, но голос его ослабел. Обнялись и расцеловались. Отец обернулся к женщине:

– А это вот, Паша, Мария Михайловна. – И выжидательно посмотрел на сына. У Павла как-то отлегло от сердца.

– Да мы вроде как уже познакомились. – Павел шагнул к ее протянутым рукам, и они тоже поцеловались.

– Ну, проходи, проходи...

Мария, глядя на обоих, всплеснула руками:

– Ну, до чего ж похож, а, Ваня? Я ведь его сразу признала!

– Похож, похож, не чужой ведь.

– Ой, я побегу. У меня ведь, Паша, баня топится! Я как знала, топить взялась, только теперь уж покрепче протоплю. Ты ведь, Паша, париться любишь?

– Да, можно...

– Ну и хорошо!

Обычные для такого случая полчаса сбивчивого разговора: как там наши, как ваши, как дорога... Разбирал суетливо сумки, доставал гостинцы. Пока говорили, Павел разглядывал дом.

Все в доме было то же, что и прежде, при матери, даже запахи. Правда, появились новые цветастые обои и занавески на окнах, в углу стал новый трельяж. Но даже не это изменило дом, чего-то еще не хватало, и Павлу было от этого как-то тоскливо. Но разглядеть толком было некогда, Мария Михайловна суетилась, накрывая стол, заносила с кухни тарелки.

– Может, перекусите, пока баня протопится?

– Да вы не беспокойтесь, я не голодный.

Топить баню отец прежде никому не доверял. Всегда делал это сам. Павел заикнулся было помочь с дровами или воды принести, но Мария только замахала руками:

– Сиди, сиди, Паша, я сама, у меня уже все припасено. Сейчас только пойду прикрою дверь, там угар уже вышел, да подложу дров еще разок. – И выбежала из избы.

Отец хмыкнул, кивнув ей вслед:

– Видишь, на всем готовом живу.

Через минуту Мария вернулась.

– Ну, вот, одна нога там, другая здесь. Давайте, мужички, идите, баня готова.

– Хватит тебе суетиться.

– Ну а как же! Не каждый день-то сын приезжает. Идите давайте. Белье вот возьмите. –

Она подала им белье, коротко и ясно глянула на Павла. – У тебя, Паша, вижу, размер отцов, должно подойти.

– Да у меня есть...

– Бери, бери, потом разберемся. Рубаху кинь там в тазик, я потом стираю, а чистую я тебе потом подберу. У отца новые, ненадеванные висят.

– Спасибо. – Павел взял стопку белья.

– Ваня, ты смотри не увлекайся там.

– Ладно...

В темном предбаннике розовела печная заслонка. Павел живо разделся. Отец снял только рубаху, сел на лавку.

– Ты, Паш, иди. Я – попозже.

Павел сел рядом на холодную лавку.

– Что, прихватывает?

– Ну. Давление. Я только ополоснусь потом. А парильщик из меня теперь хреновый. Иди попарься.

У Павла подкатил ком к горлу.

– Бать... Ты это... Ты теперь поменьше дергайся. А?

– Ладно, иди, застыл сидеть. Лавка холодная.

Павел весело встал, зашлепал по голому животу, как по барабану:

– Эх, топится, топится в огороде баня!

И весело парился, постанывал под веником от жара, гремел тазом.

Эх, не топись, не топись в огороде баня,

Эх, не женись, не женись, мой миленок Ваня!

Ужинали уже поздно. Павел выпил три стопки, Мария чуть пригубила с ним, а отец только чокался стопкой со своим лекарством – травяной настойкой. На душе у Павла стало тепло. Мария сняла со шкафа черный чемоданчик, смахнула с него пыль, подала Павлу.

– Паша, сыграешь чего-нибудь? Отец говорил, ты хорошо играешь.

Павел пожал плечами:

– Да, играл когда-то. Только давно в руки не брал. Попробую.
Расстегнул замки, взял гармонь. Тихо пробежался пальцами по кнопкам, негромко заиграл, что близко на душе лежало:

На тот большак, на перекресток,
Уже не надо больше мне спешить.
Жить без любви, быть может, просто,
Но как на свете без любви прожить.

Пели. Вместе. Тихо, душевно, ладно.

– Паша, я тебе постелила в твоей комнате.

– Угу.

Павел лег на прохладную новую простыню, потушил свет. Лежал, широко открыв глаза. Знакомо турчал сверчок под печкой, знакомо чернел на крашеной матице крюк от зыбки. Сколько же народу качалось в ней: и дед, и отец, и их братья-сестры. А он все так же торчит, только чуть стерся изнутри до небольшой бороздки. Здесь и начиналась жизнь всех его предков, сюда и возвращались они – раненые, усталые. Не все, конечно, кому и не судьба... Какими они были?.. Павел зажег ночник, открыл тумбочку. Под шкатулкой с отцовыми грамотами и медалями лежал альбом с фотографиями. Он сел на кровать и долго, медленно разглядывал лицо прадеда с шашкой и в папахе, другую, его же фотографию, с перебинтованной рукой и стоящей рядом сестрой милосердия в белом платке с крестом. Лицо сосредоточенное, внимательное. На обороте разобрал полуистертую карандашную надпись:

«Это карточка изъ города Одессы натъ Черным морем. Это карточка посылаю детямъ и жинкй на память. Спочтениемъ квамъ вашъ супругъ Михайлъ Егоров Кутовъ. Кланяюсь Анне Степановней и жилаю от госнда Буго доброго здаровой и посылаю деткам отсовской благословение».

На других – дед в танкистском шлеме, маленький отец с семьей старшего брата, вернувшегося с войны. Отец на ней в коротких штанах с выглядывающими из-под них черными босыми ногами... Мама с подругой на фоне растянутой мятой простыни. Сам Павел, лет десяти, сидящий на стуле во дворе и выглядывающий из-за гармони...

Укладывая альбом и шкатулку в тумбочку, он увидел на дне ее рамку со стеклом. Достал ее и понял, чего так не хватало в комнате. Эта рамка с ретушированными портретами матери и отца в двух овалах всегда висела в большой комнате между окон. Он закрыл тумбочку, потушил свет, лег. Но сон не шел. Тогда он оделся и тихо, стараясь не шуметь, вышел во двор. Сел на скамью, закурил.

Тихо, незло перебрехиваются по селу собаки. Знакомо пахнет из закута. Слышно, как в нем вздыхает корова. Скрипнула дверь на веранде, вышел отец. Сел рядом, тронул Павла за колено.

– Ты какие куришь? С фильтром?

– Угу.

– Дай-ка одну.

– Ты ж теперь не куришь.

– Я понюхаю.

Павел полез в карман, достал пачку, протянул отцу. Тот вынул сигарету, понюхал:

– Сладкие... Сколько побудешь?

– Дня два.

– Чего так скоро? Погости.

– Да нет, дела, работа.

- Ну, смотри, не обижайся. – Отец тронул ладонью его колено.
- Бать... Я портрет заберу, в тумбочке. Ваш с матерью.
- Отец помял сигарету.
- Возьми. – Покрошил ее на землю. – А довезешь? Со стеклом-то побьешь.
- Да я аккуратно. Завернуть только во что-то надо. Картонкой какой-нибудь стекло прикрыть или фанеркой. Найдешь?
- Чего-нибудь придумаем.
- Помолчали. Отец о чем-то думал.
- Тяжело, ходить-то?
- А? Ходить? Ничего. Ты знаешь, Паш, а ты гармонь заberi. У нее футляр плотный, портрет на дно положишь, стекло цело будет. А?
- А ты как? Без гармонии? Нет, я не возьму.
- Бери-бери, мне теперь на ней не играть.
- А я, вижу, рука у тебя вроде как ничего...
- Да, отошла немного. – Отец мял пальцы другой рукой. – Только плохо пальцы чувуют, вроде как немые стали, да и слабые. Ведро с водой – полное не выдерживают.
- Положил ладонь на лавку, смотрел в сторону реки. Павел посмотрел туда же, коснулся его ладони:
- Бать...
- Отец, как очнулся, повернувшись, мельком глянул на сына, встал.
- Ну, что, пойдём спать? Устал небось ехать-то?
- Да ну, ехать! Сиди себе.
- А я устал, как к тебе тогда ездил. Прямо извелся без дела. На работе – и то так не устаешь. Теперь, правда, с рукой-то как легкотрудник, язви ее! – Он кивнул в сторону дома. – Да и Мария Михайловна не дает ничего делать. Все сама. Коровы, огород – все на ней. Картошку, считай, всю сама выбрала. Я, было, взялся за лопату, раза два копнул – и дух вон. Шестьдесят бадей картошки накопили. А нам на двоих и половина – через край! Тебе картошки-то не надо? А то возьми...
- Бать, ну куда я попру, через пол-России, мешки-то!
- Отец засмеялся:
- И то правда! Ну, иди спать.
- Павел задремывал. На душе его было легко, как в детстве. Занавеска на дверях шелестнула, вошел отец. Зашептал:
- Паш, спишь?
- Нет еще.
- Ты... Письмо получил?
- Ну.
- Видел там чего?
- Видел.
- Может, обиделся?
- Да что ты, батя. Я же вижу: женщина она хорошая. В общем... Я рад за вас. Рад, точно.
- Пашка. Паш... Ты побудь еще, а? Мы ведь тоже радые.
- Ну, там посмотрим. Завтра на кладбище сходим, к старикам, матери? Ты как? Сможешь?
- Сходим, конечно. Я уже вон и без бадика ходить могу. Ты только, как поедешь, гармонь возьми.
- Хорошо, возьму. Спасибо тебе.
- Да, ладно, чего там, поиграй еще за меня.

– А знаешь, бать, я, может, завтра телеграмму Людке дам, пусть и она приедет, хоть повидаемся, сто лет вместе не были. А?

– Давай-давай, как знаешь!

– Спокойной ночи, батя.

– Давай...

Хорошо было. Главное, обо всем поговорили.

Люба

Виктору Дорохину в наследство от матери достался дом в деревне. Город Виктор не любил за его суету и многолюдность, хоть и жил в нем давно – с тех пор как вернулся из армии. Служить ему пришлось в городе, что в сорока километрах от родной деревни. Служба уже подходила к концу, когда в одно из увольнений познакомился он с продавщицей из гастронома на Торговой улице. Сразу же после демобилизации они расписались. Свадьбу играли в городе, в тесной двухкомнатной квартире на четвертом этаже: – в деревне не захотела Света, невеста.

Витькина радость и веселье словно обломились вдруг, когда в суматохе свадьбы увидел он глаза матери, отчего-то одинокой на этом застолье. Потому, наверное, каждый раз, как выдавался лишней выходной или праздник, торопился он проведать мать, а после ее смерти – дом. В пятницу, закончив работу, спешил он на автостанцию, чтобы рейсовым автобусом добраться до соседнего райцентра, оттуда двенадцать километров на попутке до центральной усадьбы колхоза, а там рукой подать – четыре километра до деревни. Жена с ним ездила редко: лишь по теплу, когда можно полежать на траве или сходить в лес за земляникой.

На Октябрьские праздники Виктор вновь засобирался в деревню. Пока доехал до райцентра, пока поймал попутку, стало смеркаться. От центральной усадьбы по знакомой березовой аллее шел он в сумерках, хрустя молодым ледком в колеиных лужах и радуясь чему-то. В деревню вошел затемно, перешел через плотину между двумя прудами на свой край, темный от пустующих изб. Проходя, безотчетно отмечал их по фамилиям прежних хозяев: Мещеряковы, Тюнины, Хохловы... У калитки своего дома остановился, поставил на скамейку сумку и рюкзак с харчами. Поклонившись дому, подошел к скрипучему крыльцу, привычно нащупал над дверным косяком ключ на тряпичной завязке, открыл дом...

Затопил печку, медленно наполнявшую живым теплом выстывшую избу, присел на лавку перед домом и закурил. За прудами деревня светилась мелкими огоньками домов.

Когда шагал в темноте и переступал замерзшие колдобины, представлялось ему, как заглянет к соседу – Рябому: стукнет в окно или окликнет его от калитки палисадника. Увидит сначала знакомую тень за дрогнувшей занавеской, затем – прильнувшее со свету к стеклу его загорелое и обветренное лицо, радостный всплеск его рук, потом – разговоры за широким столом в его избе.

Теперь идти никуда не хотелось. Сидя на низкой скамейке у печи и подкладывая дрова, задумчиво глядел он на огонь, чему-то улыбался...

Спать лег в теплую, как в детстве, постель, вспоминая, как мать вывешивала простыню и одеяло на шесток у горячей печи перед тем, как постелить их. Мысли его заблудились в воспоминаниях, с улыбкой и какой-то надеждой на завтра он уснул...

По привычке проснулся рано. Не вставая, глядел на светлеющие окна. За ними тихо покачивались белые от инея голые ветки вишни. Слушая мерный стук ходиков на стене, снова задремал и проснулся, когда совсем ободнялось, с тем радостным чувством свободы от наступивших выходных, что бывает только в детстве. Полежав немного в тепле постели, встал. Босиком пройдясь по выстывшим вязаным половикам до плитки, поставил чайник. Одевшись, вышел на крыльцо, оглядел деревню. Плотины и низина у прудов мохнато белели от покрытой инеем травы, блестели у берегов хрупкие ледяные закраины. Чуть заметно поднимался туман.

Когда кипящий чайник был отставлен, а на сковородке зашкворчало сало, готовясь принять разбитые яйца, в сенях послышались голоса, шаркающие шаги и, со словами: «Эй, хозяин, можно?» в избу, не разуваясь, вошли Рябый и Генка.

– А-а! Василич! Генка! Здорово были! – засуетился Виктор.

– Здорово, здорово, – говорит Рябый, доставая из карманов пиджаков, курток и фуфаяк, надетых на него друг на друга, бутылку водки, яйца и кусок сала. – Ты чего ж вчера не пришел? Мы огонь у тебя с Генкой еще с вечера заметили, думали, зайдешь.

– А мы уже с утра пораньше с Рябым приняли, – весело и развязно сообщает Генка. – Это уже вторая, – показывает он на бутылку.

– Тогда давайте садитесь, сейчас яичница поспеет, – говорит Виктор, доставая из банки соленые огурцы. Пока он выходит в сени за капустой, Генка зубами открывает бутылку, достает с полки три стакана и ставит их на стол.

– ...и пусть он не брешет, – громко говорит Рябый, продолжая начатый еще на улице разговор. Тихо говорить он по природе своей не может. – Я всю жизнь в колхозе проработал, горсти зерна у нашего государства не украл. Я, товарищи, как из армии пришел – меня сразу назначили бригадиром полеводческой бригады. Баб одних сорок человек было, и я, товарищи, поверите – нет, сразу среди них соцсоревнование...

– Ладно, давай выпьем, – перебивает Генка, он уже держит стакан в руке, два других стоят у сковородки с дымящейся яичницей.

– Ну давайте... Будем здоровы. – Рябый не обижается, что Генка перебил: о своем бригадирстве он может говорить бесконечно. Все чокаются. Держа в руке стакан, Генка смотрит, как Рябый медленно выпивает, придерживая на голове шапку-треух, чтобы та не упала, когда дно стакана с выпуклыми буквами «Ц. 12 коп.» смотрит в потолок. Пока Рябый, морщась и дую сквозь губы, закусывает салом, Виктор, чуть помедлив, выпивает одним глотком.

– Как вы ее так пьете? – удивляется Рябый, еще более морщась.

– А че тянуть-то?

– Да уж больно как-то... разом... Я так не умею. – Дожевывая сало, Рябый внимательно глядится в окно. – Хтой-то идет.

Через минуту в сенях раздаются шаги, и из сеней слышен молодой женский голос.

– Можно?

– А, соседка! Заходи! – дружно зовут мужики.

– Я на минутку, с праздником вас! – сбрасывая на плечи платок, в избу заходит Люба Пищулина, одноклассница Виктора.

– Садись с нами, – шумно приглашает Рябый, подвигая стакан на край стола.

– А я смотрю, вы с утра – уже! Нет, я только на минутку.

– Люб, посиди с нами. – Виктор подвигает ей стул, мягко за плечо усаживает ее, достает еще один стакан. Люба не отказывается:

– Ну, ради праздничка... Будем здоровы, – весело смотрит на Виктора, пригубляет из стакана.

– Вот это по-нашему! – радуется Рябый и видит у Генки отставленный полный стакан. – Э-э, ты давай не тани, хитрый какой! Ты и давеча, наверно, пока я пил, – отлынивал. А я за тебя – отдувайся. Я вон с утра к Михаилу заходил, в честь праздника с ним две стопки дернул, а ты мудришь, паря!

– Да я с ним разговаривать не буду, с Михаилом, а он с ним – две стопки! Мало он тебя с зерном намахал! – заводится Генка.

– А ты чего на него?

– Чего-чего! Вон, в прошлом году решил я индюхов развесть с ним пополам. Привез из города индюха с индюшкой, а яйца пополам договорились и индюшат, как выведут. Корм я вожу, а живут у Михаила. Вот. Вожу я, значит, корм, а индюшка тем временем у него индюшат вывела – шестнадцать штук! Думаю, на Новый год, как мериканцы, индюха в духовке запеку... А тут еду я из города, гляжу – Варя Михайлова. Стоит у колонки. Останавливаюсь, чтобы поздоровкаться. Здорово, говорю, а она на бугор за деревню смотрит: гля, гля, Генка! Лиса! Видал? Какая там, думаю, лиса, нет там ничего. Видал? – Варя опять спрашивает. Я плечами

пожал – видал, говорю. И сам поехал. Пока дома печку растопил, то-се, гляжу, Варя идет и индюха несет. Ну что, Генка? – меня спрашивает, ты лису видал? Видал, видал, говорю, – иди ты со своей лисой! А коли видал, забирай свою индюха, – лиса твоих индюшат перетаскала, все восемь штук. И индюха бросила и ушла. А я сижу, а индюх по кухне ходит. Гляжу на него, а сам думаю: как же лиса моих индюшат от Михайловых отличила?

Виктор с Рябым ржут, то припадая к столу, то откидываясь на табуретках. Люба, раскрасневшись, тоже смеется, показывая ровный ряд белых зубов.

– А ты говоришь: две стопки. Да я с ним теперь не то что стопку, а на один гектар не сяду...

– А-а-а-га-га! – распалются мужики. Виктор сквозь слезы, давясь, выговаривает: – Так, значит, гля-гля... видал, – она тебе?.. А-а-га-га!

– Да! Забери, говорит, свою индюха, а я, как дурак, корму им на год вперед навез...

– Ой, Генка, хватит, уморишь...

Историй у Генки пропасть, насмеешься до боли в животе, как начнет – не остановишь, поэтому Люба просит:

– Вить, давай лучше споем.

Виктор достает гармонь; беря аккорд, раздирает слипшиеся, слезавшиеся меха. Пробегавшись, с удовольствием начинает:

В поле, за околицей,
Там, где ты идешь,
И шумит и клонится
У дороги рожь.

Чистый и глубокий голос Любы подхватывает:

Ой ты, рожь,
Хорошо поешь!

Захмелевший Рябый слушает, шевеля губами. У Генки нет никакого слуха, поэтому резким, не попадающим в тон и такт голосом он забегает наперед и, закрыв глаза, громко торопится:

Счастье повстречается —
Мимо не пройдешь.
И заканчивает вперед всех:
О-ой ты-ы, рожь!

Люба смеется:

– Да ну тебя, Генка! Песню только испортил.

Спустя полчаса все выходят на улицу. Пока Рябый с Генкой неверной походкой идут к калитке, Рябый говорит:

– Дак ведь еще утро, праздник только начинается. Мы щас с тобой, Генка, пойдем поспим чуток, а потом к вечеру к Витьке придем. Я, Витька, тебе сала принесу и медовухи. Договорились? Иль у тебе дела какие есть?

– Ладно, ладно, договорились. Мне только забор поправить. Приходите...

У калитки Рябый, довольный так весело начавшимся днем, предлагает Генке:

– Давай зайдем ко мне, у меня по стопочке еще примем за воротник, и пойдем спать.

Они спускаются вниз, к прудам, и останавливаются – решают, какой дорогой идти короче: верхней плотиной или нижней. Внизу, на краю сгущающегося тумана голоса уже не слышны, но по их действиям ясно: Генка доказывает, что идти ближе нижней плотиной, а Рябый – наоборот. Виктору с Любой, стоящим наверху у калитки, как в немом кино, видны все детали их спора. Спорщики наконец договариваются, что они пойдут разными дорогами. Каждый направляется в свою сторону: долговязый Генка идет, отмеряя сажени, Рябый, короткий и толстый, по грудь Генке, выставив вперед живот, семенит короткими аршинами. Вдруг он оборачивается и кричит Генке что-то, машет руками. Тот возвращается и долго, как в немой клоунаде, Рябый показывает под ноги: то подражая Генкиным шагам, то семена по-своему. Виктор с Любой, смеясь, держатся за забор, не зная, чем закончится спор: Генка машет своими длинными руками, Рябый плюет на это, бросает на землю шапку и доказывает свое. Наконец договорившись, оба идут к нижней плотине и пропадают в тумане.

Насмеявшись вдоволь, Люба с Виктором стоят у березы, с которой слетают редкие капли тумана. Виктор смотрит на Любу. В сером платке поверх старой черной шубки, с румянцем на щеках, она так похожа на его мать в пору ее молодости, когда, как помнил Виктор, та выступала на праздничных концертах в их клубе, пела под баян, такая молодая и красивая, а они с отцом сидели в зале и оба: и отец и он – не спускали с нее глаз.

– Люб, пойдём в дом, посидим, – неожиданно для себя предложил Виктор, почему-то боясь, что она откажется. Она улыбнулась, легко двинула плечом:

– Пойдем.

– Поставь самовар, что ли, – поднимаясь на крыльцо, совсем по-хозяйски распорядился он.

– Спички давай.

Он полез в карман фуфайки, достал коробок, погремел двумя оставшимися в нем спичками, протянул ей. Задержал руку и поглядел ей в глаза. Беря коробок, она не отвела взгляда, лишь улыбнулась.

Самовар поставили в сенях. Пока он ходил за водой, она настрогала щепок, положила бересты в самовар. Налив воды, бросила в трубу горящую бересту, села на скамейку рядом с ним. Молчали. Виктор покачал головой и, прерывая затянувшееся молчание, хмыкнул:

– Хм, ну надо же, мерить собрались, чудачки какие...

Самовар долго не разгорался, наконец из него начало выбиваться пламя. Виктор надел на него трубу, открыл для сквозняка, чтоб не дымило, вторую дверь в сенях, прикурил от трубы, опять сел на скамейку. Положив ногу на ногу, щурясь, смотрел на дым.

– Давно уехал? – спросил он. Она поняла, о ком речь.

– Второй год. Как уехал прошлым летом, так и не объявлялся. Была в Становом, видела дружка его, Лешку Парахина, к матери приезжал. Оба они завербовались тогда, метро роют.

Он перестал качать ногой, задумался:

– И что, не пишет даже?

– Нет, так ни разу и не написал. Лешка говорит: подженился он там, живет у нее. Ладно – про меня, даже про дочь ни разу не вспомнил. Ни письма, ни копейки. Ни жена ни вдова...

Говорила, но в ее словах ни горечи, ни сожаления не чувствовал Виктор, лишь какую-то усталость.

– Ты-то как? В городе-то...

– Так... Живу вроде. Последнее время все сюда тянет, мать во сне часто вижу: стоит у калитки с березовой веткой, в платье и на снегу почему-то, а свет вокруг белый-белый, машет мне через пруд. – Он помолчал и нерешительно, не глядя на Любу, тихо сказал: – И ты тоже...

– Что, снюсь? – так же тихо спросила она.

Он бросил окурок в трубу, обернулся к ней, усмехнулся:

– Нет, вспоминаю, как мы с тобой телят пасли. Нам тогда лет по пятнадцать, что ли, было, после седьмого класса. Ты худенькая была, сарафан на тебе сиреневый такой. Помнишь? Мы с тобой обедать сели...

– Под дубом у пруда? – Люба задумчиво смотрела на дым.

– Ну... Костер развели. Молоко тогда пили из одной бутылки. И на кофте твоей сидели. А ты все чего-то смеялась тогда. В карты стали играть, а ты все смеешься. Карту бросишь не ту и тут же выхватываешь обратно. И по руке меня шлепаешь.

Самовар шумел, выплескивая через крышку кипятки, а они смотрели на него, не двигаясь.

– Чего ты тогда смеялась? А?

– Дура была... Да и ты дурак был, – сказала она, вставая, надвинув ему шапку на лоб.

– Ты куда? – глядя на нее снизу вверх, он взял ее за руку. – А чай?

Она придержала руку, помедлив, вздохнула, поправила другой рукой платок:

– Пойду домой. Праздник, а дела делать надо, – грустно потерлась щекой о плечо и вышла. Через дверной проем сеней Виктор видел, как она подошла к калитке, остановилась, поглядев вверх на большую березу, стоящую рядом, сорвала маленькую мокрую ветку, снова привычным движением поправила платок и, глядя под ноги, спустилась к плотине, растворившись в тумане.

Впереди был выходной день, но Виктор отчего-то заторопился, вспомнил какие-то домашние дела, и через час он уже шагал по березовой аллее. На краю ее он пошел медленнее, затем остановился и, обернувшись назад, постоял, глядя в сторону деревни. Вспомнив что-то, поднял глаза к верхушкам берез, сдвинул шапку на брови, улыбнулся и, сказав себе вслух: «Дурак!», весело зашагал дальше...

Самовар

Заскучал Петрович, затосковало, сжалось сердечко – о родной деревне вспоминать стал всё чаще. Рыбалку, вечернюю зорьку на речке, а над ней стелющийся, пахучий дымок, да еще кизячный запах с база. Был Петрович на базаре с женой, по рядам то какие-то батники, то сапоги на платформе высматривали, и изо всей кучи барахла глаз его выглядел самовар! Мать честная! Вот ведь по чем скучалось, грезилось-то. Всё! Разом решил Петрович – надо брать! Он торговался, а жена сзади за рукав дергала:

– На кой леший он тебе сдался! Куда он тебе на седьмом этаже!

Как ни шумела жена, устоял Петрович. Купил самовар. Со скандалом. Даже спать врозь легли.

«Ничего, – думал Петрович. – Пошумит, подуется – отойдет».

И сердце его сладко таяло в ожидании субботы. А Петрович не ждал – еще среди недели пошел в парк и набрал сушняка. Наломал через коленку веток помельче и нес в сетке.

Мужики во дворе восприняли – кто как. Разделился народ. Дым по всему двору, а тут и участковый (не зря грозила тетка из 14-й квартиры вызвать милицию). Пришел и не знает, как быть: нарушение это или не нарушение – топить самовар в общественном месте.

Подошел, пытаясь держаться посолидней, взял под козырек:

– Лейтенант Трещев. Почему открытый огонь в местах общего пользования разжигаете?

Петрович как раз щепочек подкладывал. Разогнулся – выпрямился во весь рост, привычно провел рукой вдоль ремня, глянул на лейтенанта сверху вниз, поднес руку к фуражке:

– Сержант запаса Пищулин. Сергей Петрович. – И протянул руку. – Не огонь разжигаем, а самовар ставим. Ежели что, вот ответственные за пожарную безопасность. – И показал на сидевших на лавочке и следивших за ним тетушек. Те засмеялись следом за Петровичем. – А это пожарный расчет. – И кивнул на сидевших за столиком мужиков. Лейтенант смутился, не зная, что сказать, и сказал просто:

– Сигнал был. Из этого дома.

– Да ты сам-то городской? – спросил его Петрович, обратившись на «ты», больно молод был лейтенант.

– Да нет, деревенский.

– Тогда садись с нами чай пить...

– Мне нельзя, я при исполнении.

Петрович засмеялся:

– Так я ж не выпить предлагаю, а чайку попить. С баранками.

И хорошо, и так по-родному пахло дымом...

Последнее время Петровичу все чаще снилась родная деревня. Вот он, еще до армии, едет вместе с отцом с покоса. Лежит он навзничь на возу сена с закрытыми глазами. Воз переваливается, укачивает его;пряно, остро пахнет свежим сеном и кислым конским потом, теплый ветер шевелит волосы, и качающаяся травинка щекочет ему щеку, а сквозь прикрытые веки от яркого солнца вспыхивают цветные звездочки. Не спеша, чтобы не опрокинуть воз, едут через всю деревню, здороваясь по пути с мужиками, и он даже с закрытыми глазами узнает и будто бы видит их: дядю Митю и Тимофея Рябого, и дядю Семена Полева. И он вовсе не удивляется тому, что и отец, и все они живы, и отец вдруг рассказывает какую-то старую шутку:

– Сенька! – А? – Скажи моей кобыле «тпру». – А сам-то что ж? – А у меня губы на морозе замерзли.

И вместе смеются этой отцовской шутке. Но, чувствуя по привычным поворотам улицы, что и дом, и деревню они давно проехали и едут уже куда-то дальше, по большаку, он вдруг понимает, что они везут сено почему-то в город, и он теперь с тревогой думает: это когда же

они на лошади-то эту даль-то проедут и куда ему в квартире сено девать? И он, чтобы спросить у отца, свешивается вниз и вдруг, обмирая всем телом, летит с воза. И просыпается с колотящимся сердцем и ощущая свое ставшее вдруг тяжелым до неподъемности, тело...

Вот другой сон. Утро. Мать впол-огня засветила керосиновую лампу, чтобы лишним светом не разбудить ребятшек, растопила печку и, тихо напевая что-то, стряпает в запечном закуте. И он, маленький, то ли в полудреме, то ли наяву, слышит едва уловимый запах дымка от разгорающейся печи: так всегда – перехватит берестяная кора тоненькими – тоньше, чем бумажка, своими прозрачными краюшками-лохмотками огонек от спички, и, пока огоньком этим займутся сначала ломкие лучинки, а за ними и поленья потоньше – чуть дымнет печка, и дым, будто в раздумье, всплывет у предпечья, чуть повисит патлатым облачком и, сначала медленно, а потом все быстрее, поплывет в трубу, захваченный разгорающимся огнем. И мать, стараясь не греметь чугунами, ходит по кухонному закуту, и от нее, от огня в пылающей печи, на стене шевелится тень. Тихо, тепло, сонно.

И весь день потом всплывают эти сны: то в троллейбусе, то переходя проспект или огромное, словно асфальтовое озеро, площадь, и кажутся такими до оторопи невозможными теперь, в городе – и печка, и покос, и лошадь, и неспешная деревенская дорога, и тихий угасающий вечер на крылечке, когда в тишине слышно, как перебросятся двумя-тремя словами на огороде две соседки или замычит, напоминая о себе, корова, пришедшая из стада и стоящая у закрытой загородки, и хлопотливо откликнется хозяйка: «Ой, Веруха, заболталась я, Зорька-то пришла. – И заторопится: – Иду, Зорюшка, иду-у!»

Не по себе становилось. И оказывалось: жизнь, которую к пятидесяти годам прожил Сергей Петрович, делилась на два мира, и не сойтись им никак, и ничем не напоминают один – другой. Двадцать лет в одном, тридцать в другом. Не напоминают. Тогда в чем же дело? Отчего, что за причина – сны эти? Не мог объяснить Петрович. Но снилось же, и все больше, и все острее становились в этих снах полузабытые запахи и звуки. И совсем, кажется, становились невыносимыми эти явные признаки давно ушедшего прошлого – запахи, звуки, ощущения. Родного, утерянного навеки.

Вот он, как обычно, возвращается с работы: вахта, дежурному – «пока», семь минут до метро, двадцать семь до перехода, четыре переходом до и еще двадцать шесть под землей до своей станции, девятнадцать минут автобусом, семь – до дома – и все привычно, до автоматизма... И вдруг, проходя через соседний двор, видит привычную картину – старушка выгуливает собаку, остановился и почти ослобенел. И с этой минуты стал отчего-то глядеть на город глазами из деревни. Когда смотришь так, то картина разницы с городом становилась совсем невразумительная: да разве мог он, живя в деревне, представить бабку, ведущую по деревенской улице собаку на поводке? Зачем? У любой бабки вечером другие дела найдутся, а гулять с собакой никому и в голову не придет. Скорее – со свиньей. Был у одного из мужиков хряк, он его по деревне на поводке водил. Но то – по делу.

– Здорово, Никифорыч! – привычно, но всегда чуть с насмешкой приветствовал его кто-нибудь из мужиков. – Опять Борьку на свидание повел?

– А то!

– Чья невеста-то?

– Боевых.

– А-а... У Леньки невеста хороша! Пудов на девять.

И стоял Петрович столбняком, так и глядя и на эту собачку на поводке, и на старушку, и удивлялся уже самому себе: неужто не привыкнешь, Петрович, что и так люди живут, смени глаза-то на городские.

Так и стал по субботам Петрович самовар во дворе разводить. Самовар сначала тонко попискивал, потом все громче шумел. И каждый из собравшихся соседей впереводку вспоминал и то, как сапогом продували прежде золу, и у кого в каких краях чем растапливали самовары:

у одних еловой шишкой, в других краях березовыми угольями, а на юге – вишневым сушняком, от которого к чаю и заварки не нужно – такой духмяный запах от него. Самовар доспевал: вроде бы и затихать стал, но клокотала в нем закипавшая вода и, выплескиваясь из-под крышки, шипя, стекала по блестящему боку самовара.

Когда допивали чай, Петрович аккуратно ставил самовар в коробку из-под какой-то импортной электроники, прощался с каждым из соседей за руку и, неся коробку под мышкой, шел домой. Мужики еще сидели, неспешно докуривая и глядя, как в верхних этажах высотки, стоящей напротив, в окнах полыхал отблеск закатного солнца. Алый, и настолько яркий, что неразличимыми казались огни светофора на перекрестке, видимого в узком разрыве между домами. Блеск тускнел, солнце переплывало по окнам и садилось не за горизонт, а за глыбу дома, у которого они сидели. А на них наплывала синяя тень, и огни светофора становились все различимей и ярче. И молчали.

Оттуда, от перекрестка, несло бензиновым перегаром, и в нем начинал теряться запах дымка, в котором каждый различал знакомые с детства оттенки – от еловых шишек, вишневых веток и березовых угольев.

Тулуп

Сейчас висит он на гвозде у печки: ворот задран, плечи и рукава опущены, и потому вид его может показаться виноватым, но это, скорее, вид покорного слуги. Он и есть слуга – старый, верный, надежный. А служит он мне вот уже треть века. Здесь, в деревне, и вид его вполне деревенский. Гляжу я на него и думаю – как же быстро меняется время и как скоротечны моды! А когда-то был он вполне городским. Была и такая мода в городах в годы моей юности, и считалось это даже шиком – носить дубленку.

Дубленка... Благородное название для тех, кто помнит те давние, прошедшие времена. Но моему, с его рабоче-крестьянским происхождением, больше идет название «тулуп». А словарь Даля числит его бекешей, хотя для бекеша он чуть коротковат и потому он, скорее, полушубок – длина его лишь до колен. Да и ворот не такой большой, как у классического тулупа. Даль определяет его точно: «Тулупчик – запашная бекешка, без перехвата, короткая и с малым воротом». Прямо портрет моего тулупа, так подходящего русскому мужику, будь он хоть сын боярский XVI века, хоть горожанин середины XX.

Время, исчисляемое веками, мало изменило его – во всем его, несколько неуклюжем, нерасторопном, облике видна простота и целесообразность. Его неприхотливость и стойкость многие годы удивляют меня... Да, как ни странно по теперешней моде, а для молодежи – особенно, трудно представить сегодня городского человека в таком тулупе в зимний день в городе – на улице ли, в автобусе, магазине или в вестибюле кинотеатра. Но ведь носили их прежде повсюду и даже завидовали тому, кого согревал он в мороз и метель! Были же и такие недавние времена!

Моему судьба готовила простую службу в виде спецодежды какому-нибудь сторожу или вахтеру при заводе или складе. На заводском складе и получил его как премию ко дню рождения, мой отец, но не на его, а на мои плечи лег он в тот же день. Еще звучали тосты в честь его сорокалетия, а я в пылу юбилейных речей и отцовского щедрого настроения, облачившись в него, уже ждал, когда назавтра, в морозное утро Васильева дня я выйду в нем и пройду – куда бы ни направили меня домашние дела – в магазин или по другим делам. С того самого дня служит он мне бесшумно. И когда я смотрю на него с благодарностью, то думаю о нем, о его истории. Когда-то, еще полвека назад, плоть его росла, ходила и возрастала вместе с отарой баранов. Да не с одним, а с тройкой из них. И пусть вид его невзрачен и простоват, но за его простотой видится мне все его прошлое...

Тулуп, мех, овчина, овца, отара – вот тот ряд, определяющий историю моего тулупа. А ведь хороша, видно, была трава, в те советские застойные времена, да и пастух, похоже, был неплох – все это отразилось в изначальном качестве овец «как носителей невыделанной овчины». Без хорошей травы и доброго выпаса не служил бы он сегодня, а сгнил бы давным-давно на свалке. Добротню выдывали их потом на тех же застойных советских кожзаводах. А шили так крепко, что спустя тридцать лет, случайно падая в овраг и зацепившись рукавом за сук, я лишь услышал треск, но повис на нем: и он выдержал – и меня, и тяжелый рюкзак! Еще и не такое бывало с ним, за тридцать-то с лишним лет! Бывало...

И еще одно его свойство как предмета желания я испытал скоро после овладения им. Я только лишь незадолго до этого пришел из армии, и встречи с каждым пятым, одетым в такие же полушубки, убедили меня, что это не только удобно, но и модно. А поначалу кадры исторических фильмов с боролатыми мужиками, переживающими смутное время начала XVII века или картины Верещагина «Не замай, дай подойти» с сюжетами партизан войны 1812 года, на которых герои были одеты в мой тулуп, убеждали меня, что эти тулупы давно стали музейными экспонатами, или – как любят теперь говорить модные люди «от культур» – артефактами и предметами давно минувших дней. Но вернусь к истории моего полушубка.

В первые дни января далекого 1979 года я с другом оказался в Киеве. Тот январь в Киеве больше походил на ранний апрель: стояли необычно теплые, туманные дни, шел дождь. Он и загнал нас под козырек магазина, а весеннее тепло заставило снять тулупы. Так мы и стояли, держа их в руках. Но стоять нам не дали. Как только тулупы были переброшены через руку, как тут же к нам стали подходить и задавать один и тот же вопрос: почему дубленки? Пришлось надеть и париться в них, чтобы не смущать желающих купить такой дефицит. Я не только перестал испытывать неловкость при ношении тулупа, казавшегося мне поначалу патриархальным, но и пошел дальше – я решил ему соответствовать: отпустил бороду. С тех пор мы с ним сроднились, и не раз доказывал он мне и свою верность, и невероятную выносливость.

Время шло, и моды окончательно изменились, да и пообтрепался он за эти годы – стали вытираться до залысин рукава и воротник. Пришла пора, и отправился он из города в деревенскую ссылку. К ней готовил я его постепенно. Сначала я путешествовал с ним из города в мой деревенский дом; на лыжах в тулупе было ни жарко, ни холодно; пробежишься по морозцу и, чтобы не упариться – можно расстегнуть его совсем или на одну-две пуговицы – все зависит от того, каков мороз: прижимает или едва холодит. А устанешь, так хоть садись в нем прямо в сугроб – и холода не почувствуешь. В хорошие морозы деревенский дом выстывает за неделю. Трогаются инеем стены, насквозь промерзает, вздымаясь пузырящимся ледяным горбом, оставленная в ведре вода, но в нем, пока протапливается дом, я уже чувствовал домашнее тепло. И вот настал наконец в его судьбе и тот самый переломный день: теплым весенним днём я уезжал в город, окончательно оставив его в деревенском доме...

Здесь он прижился, ожидал меня в выстывающем доме и оказался востребованным не только мною в зимние прогулки по деревне или на рыбалку на пруду летней зябкой зорькой. Когда выходили мы на огород сажать по весне картошку или окучивать ее летним временем, или собирать погожими днями ранней осени, укладывали мы на его уютном лохматом лоне, уложенном прямо в борозде, маленьких наших девчонок поспать обязательным для них дневным сном. Устанавливали над ними старый, потерявший способность складываться зонт, по инвалидности так же, как и тулуп, отправленный справлять деревенскую службу, и занимались своими огородными делами. Летней порой зонт защищал их сон от солнца, а по осени – от дождика. Таким привычным и умиляющим был этот вид спящих на тулупе здоровым деревенским сном детей под сенью зонта!

Не один год продолжалась эта привычная картина. Но однажды, приехав поздней осенью, когда дела огородные были уже завершены и мне предстояло свободное для размышлений и прогулок время, войдя в дом, я не нашел тулупа на привычном месте у печи. Припомнилось мне, что за несколько лет старый мой дом испытал не менее десятка воровских набегов в дни моего отсутствия и потерял в них почти все нехитрое движимое имущество, в число которого вошла даже чугунная плита с печи. Но лишь одно оставалось неизменным – мой старый заслуженный тулуп. Он все так же висел у печи и счастливо избегал этой участи. Пропадало многое: одежда, сапоги, посуда, настенные часы и даже нехитрые харчи, и лишь тулуп оставался неприкосновенным – настолько стар и неказист был его вид, что я окончательно поверил в неизменность его судьбы. Входя в дом после долгой разлуки, первое, что я всегда видел в разграбленном доме – это висящий у печи тулуп. Но в ту минуту я понял, что наступило время перелома в русской истории – да-да, не менее того, настал наконец и его черед! Наводил порядок в доме, вставлял выбитые оконные стекла и, считая новые потери, размышлял – для чего его-то теперь украли? Что за время в русской истории наступило, что красть стали столь ветхие вещи? Видно, будет он с этой поры укрывать ноги в санях лихому наезднику, посетившему мой дом или служить подстилкой дворовому кобелю. Ничего иного и придумать я не мог, потому вздохнул и распрощался с ним окончательно, и, как казалось мне, навеки.

Так прошла дождливая осень, в своё время завернули холода и выпал обильный снег, а за зиму не раз бывала оттепель. За эти полгода постепенно стал я забывать о тулупе, при-

способился к фуфайке и к старой куртке, но в метельную погоду нет-нет, да и вспоминал я и широкий запах полы моего старого товарища и высокий его ворот, в котором так хорошо было прятать щеки и глаза от нижущего ветра и снежной крупы, и бережливое тепло его овчинного нутра. К весне, к теплым денькам, тулуп мой и вовсе забылся; нужда в нем отпала – и немудрено! – на солнце с южной стороны крыша и стена дома нагревались так, что вдоль него в два дня сошли сугробы. Вытаяла земля, и на ней, парящей и источающей сырой весенний дух, разом, в считанные дни выскочила молодая мохнатая крапива и, не боясь ночных заморозков, взялась юным, изумрудным ростом. Следом и в саду у комелей старых груш, под оплавленными краями наметенных сугробов, затемнели воронки проталин, на огороде и картофельном поле показались верхушки глудок на вспаханном черноземе, день ото дня словно вырастающих из снега. Снег потемнел, стал садиться, и наскоро – в две недели – сошел, впитался живительной влагой в землю. Лишь в глубоких бороздах, прячась от жарких солнечных лучей, местами белели слежавшиеся до льда остатки оплавившегося снега – но и их век был недолог.

Мартовским днем я обрезал сад. Залезал на яблони, выискивал на них сухие, лишние ветки, тянулся к частоколу молодых прошлогодних волчков и спиливал их. Солнце было в молодой весенней силе, я шурился, выглядывая при его ярком свете лишние ветки на стоявшей у края огорода яблоне, и вдруг сверху в борозде огородной межи увидел светлое пятно. Я спустился и, стараясь наступать на остатки рыхлого, зернистого, снега, а не на гребни вытаявшей грязной земли, прошел по полю к тому месту. Еще издали я понял, что моё предчувствие находки, показавшейся сразу и безвозвратной потерей, оправдалось – на краю поля лежал мой тулуп, забытый нами в борозде в последний осенний приезд, когда мы выбирали картошку. Он лежал мехом наружу, совсем слившись с землей, мертвенно облегал оплывшие гребень и впадину борозды прошлогодней весенней вспашки. Я поднял его – сырой, тяжелый, грязный, слежавшийся, переживший дожди и снег, похожий на труп. Всё его тело с обратной, мездрильной, стороны, словно трупными пятнами, было покрыто плесенью, и я решил, что теперь окончательно потерял его, как теряют в бою смертельно раненного товарища, но все же взял его – тяжелого, пропитанного сырым духом весенней земли, и повесил на забор. Все два дня, пока занимался обрезкой, всё не подходил к нему, а лишь издали с сожалением глядел на него. К счастью, в те дни небо было открытым, солнце стояло высоко, ветер споро провяливал землю, вместе с ней подсыхал и мой тулуп. А ночью морозец крепко подмораживал-сковывал землю и еще больше подсушивал ее.

В день отъезда я вспомнил о тулупе и уже по подсохшей земле подошел к нему. Грязь на нем высохла и посветлела, но пятна плесени оставались все такими же белыми, предвещающими тлен и гибель. Я снял его и похлопал по нему рукой. Грязь стала отскакивать, а следом за ней стала осыпаться, словно мел, и плесень. Тогда у меня появилась надежда. Конечно, я понимал, что плесень наверняка источила кожу, губительно проникла в ее невидимые поры, и кожа тулупа потеряла всякую прочность, а мех его, вылезая клоками, обречен выпасть. Сначала осторожно, а потом все крепче, потянул мех овчины. Он остался на месте, в руках не было ни ворсинки. И тогда я, уже не раздумывая, пошел в дом, забрался на чердак, положил тулуп на солому и оставил для проветривания чердачные дверки раскрытыми. Одолеваемый растущей надеждой, я уехал в город.

Вернулся я недели через две и первое что сделал – полез на чердак и достал тулуп, высохший до такого состояния, что кожа его гремела, спустился и встряхнул несколько раз на улице. С его кожи слетели остатки комков грязи, ссыпалась плесень, но ни одна ворсинка меха с него не упала. Остались пятна, очистить которые не составило труда, стоило лишь просто потерять их. Я надел его; при этом он чуть громыхнул своей твердой, сухой плотью, как невыделанная овчина, пройдясь по деревне, в движении размял его... Оставались только непривычная грубость и сырой подвальный запах... За лето, за мои привычные рыбацкие зорьки на пруду, когда

я, как обычно, надевал его, он окончательно размялся и приобрел свой прежний вид. Замша его снова заворсилась, ушли и запахи сырости и тлена. А главное – весь мех остался на месте.

Он опять висит у печки. Висит и служит и, похоже, еще послужит – куда бы я его ни брал... Он вечен, как вечны сырые рассветы и бесконечные русские просторы, зимние поземки и метели – те самые обстоятельства, когда русский человек остается сам с собою. И пока будут существовать эти свойственные русской природе погодные условия, эти заметеленные, застуженные просторы России, на которых «Однозвучно гремит колокольчик...» – будет и тулуп. Все это время будет жить и Россия, и человек, живущий на ее безграничных заснеженных просторах, будет ощущать себя человеком русским... Где бы и когда бы он ни родился... «А тулуп?» – спросите вы... А тулуп тогда любому из них будет в самую пору. Как в пору становится русская земля любому, кто примерил ее на себя и кому она в пору стала.

Хозяин

Просыпаясь ночью от скрипов и шорохов на чердаке и в сенях, я лежал, прислушиваясь к этим таинственным звукам. Каждый раз, считая их мышшиной возней, уверенный в бесполезности борьбы с ней с помощью шума, топанья или ловли мышшей, коих игру наблюдал я не раз на освещенном луной или свечой полу, я переждал бессонницу простым, проверенным способом – книгой. После чтения десятка страниц под те же звуки, заглушаемые слышимыми со страниц событиями, сознание мое медленно затуманивалось, и я засыпал.

И в этот раз, привычно проснувшись от шагов и шорохов на чердаке, я прибегнул к испытанному средству. Но то ли книга показалась мне неинтересной, то ли внимание мое было отвлечено необычным шумом, только чтение никак не шло мне на ум, и я отложил книгу, взял с комода лист и ручку и, вспоминая прошедший день, стал писать:

Утром рано, до рассвета,
По нетореной лыжне
Я спешу: там дух поэта
Обитает в тишине.
Хоть в метель, хоть в непогоду,
Чтоб с дороги не свернуть,
Мне березки год от года
Намечают верный путь.
Край березовой аллеи —
И деревня на виду.
За спиной восток алеет —
Я по выгону иду.
Розовеет дома крыша
За прудом. Собачий лай
Со двора соседей слышен...
Пруд, плотина. Дом, встречай!
Палки – в снег. Воткнул и лыжи.
«Здравствуй, дом, здесь не был век!»
Подойду к нему поближе,
Отгребу с крылечка снег...
...Тихо в доме. Мрак и холод
На полу, стенах, в углах.
Подниму топор – наколет
Он дровец из мерзлых плах.
Пук соломы вспыхнет в печке,
Холод гонит прочь огонь.
Темноту растопит свечка,
Тишину вспугнет гармонь.
Достаю листки и ручку,
В доме сухо и тепло.
Трону маятник – и будто
Время музыки вновь пришло.

Дописав, задул свечу, откинулся на подушку и стал, сам того не желая, прислушиваться к шорохам на чердаке. Печь моя погасла, но от нее веяло тихим теплом летнего полудня. То ли

это тепло успокоило меня, то ли шаги по потолку отчего-то показались мне давно знакомыми, только чувства страха или неуверенности во мне не было. Я лежал, разглядывая в лунном свете потолок, оконные занавески, колеблющиеся тени на полу, темноту дверного проема, и стал думать об этом доме.

По всему виду был он не стар – с полсотни лет, но, несмотря на свой небольшой для дома возраст, успел сменить немало хозяев. Последний из них, ни дня не живший в нем, купив его у прежнего владельца, все собирался переехать сюда из соседнего сельца, да жена его, сварливая и подозрительная старуха, не пожелала этого. И тогда он решил разобрать дом, чтобы перевезти его как материал для скотного двора. Потому и достался он мне в таком виде, лишенный полов, потолка, окон и дверей, засыпанный до подоконников мусором. И никогда бы не взял я этот дом, если бы не место и вид, которые очаровали меня сразу: тихая, уединенная усадьба, обнесенная старыми березами и кленами, между стволов которых виднелась внизу плотина, делящая бывший здесь когда-то овраг на два пруда: справа верхний и слева – нижний. Дальше, на противоположном берегу, – длинная живописная цепь деревенских избушек с липой, кленом, березой или дубом перед домом. Каждый хозяин словно по «Гербовнику» избрал свое дерево. В боковое окошко, выходящее на закат солнца, виден овраг, за ним поле и взбегающий на вершину холма черный лес.

Пока я так лежал и думал, шаги раздались над самой головой и направились в сторону печи. Редкие, совсем человеческие шаги, не похожие на суетные мышинные шорохи. А потом словно кто-то упал, запутавшись в малиновых ветках, сушившихся на чердаке. По бабушкиным рассказам я знал, что в каждом доме есть свой домовый. Вспомнив об этом, представив его по шагам маленьким, чуть грузным, я, сам того не ожидая, спросил в потолок:

– Что, ушибся?

Некоторое время было молчание, а затем, будто закричав и уже не таясь, кто-то встал и негромко, но слышно сказал старым простуженным голосом:

– Да нет, ничего...

Я помолчал, глядя в потолок, слушая тишину и представляя, как он там сидит на теплом печном борове, спиной к трубе, которую я не обмазывал уже три года.

– Тебе не холодно? – спросил я, вспомнив, как пришел домой по крепнувшему морозу и долго топил печь.

– Дак ничего, мы привычныя. – Он кашлянул, засопел, словно думая: сказать еще что-то или лучше промолчать. – Только труба у тебе со щелей дымить. – И добавил с ноткой тревоги: – Не случилось бы пожару.

Голос у него добрый и чуть деловой, хозяйственный. А еще – старинный, какой в сказках бывает. В старых. Домовой, одним словом. Я опять представил его сидящим у трубы.

– Может, в избу зайдешь? В тепло-то, – в тон ему сказал я.

– Нет, благодарствуй, мне здесь привычней.

Чувствовалось, однако, что ему хочется поговорить.

– Ты тут чего досок-то накидал?

– На чердаке? Это я думал в холодной комнате потолок по матицам положить. Да все никак не соберусь.

– Это в горнице-то? Пора уж: который год живешь, а потолок не положишь.

– А разве ту комнату горницей называют?

– Горницей – это по-старому. Прежде, у старину, наверху, на чердаках, комнатки делали. Холодные. Летом там девки жили. А наверху, стало быть, место горнее, высокое, оттого и горница. По ним потом холодные половины стали горницами звать. А как девку замуж выдавали, молодых зимой у горнице клали али у пунькю. – Он засмеялся. – Чтобы молодая от жениха не отворачивалась.

– А «пунька» – это что?

– Пунья – она пунья и есть. Сарайчик, салаш перед избой. Она и у твоём поместьи была, а прежний хозяин ее разорил. Ты вот новую поделал, из камня, над погребницей, а только прежняя под соломой была, ноне уж соломой никто не кроет.

– Ты-то, наверное, помнишь, как соломой дома крыли.

– Как не помню! Не только как крыли, я еще помню, как тут только строиться взялись. Был отвершек – овражек, у нем рос лес. Дубовой. Пришли мужики барския, раскорчевали, попилили его, сделали две плотинки, два пруда запрудили.

– Неужели лес в овраге был?

– А то! Знаешь, дубки какие! У тебе у сарая пень старай дубовой ляжит?

– Ну а как же. Я на нем дрова рублю.

– Вот. Этот пень вынули со дна пруда, когда с полсотни лет назад их спускали и чистили. Хозяин, который дом наш строил, этих пней натаскал! Запасливый был! Этот наш порядок деревни не так давно поставили. Та-то сторона деревни на солнышко глядит, а эта у тенечке. Первый хозяин все по-старинному делал: яму вырыл, глинки навозил с оврага, что в лесу, кирпич сырого наделал, у той яме сложил, дровами обложил и запалил огро-омной кострище. Засыпал потом яму, чтоб кирпич остывать не торопился. Навозил на худамент камней с поля, они там сами из земле растут. Сложил стены: кирпич, что поближе к огню лежал, тот покрепче, его и клали наружу. Видал, наверное, тот кирпич запекшийся, как стеклом облитый? Кладку колодцем делали, ребятишки хозяйские на телеге по всей деревне собирали пыс, золу, значит, печную, в эту кладку засыпали, чтоб дом был теплее. Печь сложил маленькую, а теплую. Ее, как дом разорять начали, чуть вовсе не сломали.

– Да, я ее потом перекладывал. А в дымоходах, когда чистил, гнездо нашел и два пустых яйца. И как они туда попали, в самый низ?

Он зашевелился, заволновался:

– А ты думал, это птичье гнездо? Нет, это крыса свила и яиц туды натаскала.

– Так это она в шкафу дырку прогрызла и в комод все белье растрепала?

– Она! У меня с ей, с этой крысой, прямо война. Мыши – тоже беда! Я-то берегу все, что ты от воров прячешь, а они и там достают, все извозят, изгрызут! Мор их возьми!

Он подумал, вспоминая, что где еще надо бы сделать, поправить.

– Пунью-то ты доделал?

– Вроде да.

– Надо бы дверку на ней попрочней изделать да замок бы повесить, а то, неровен час, – вору залезут.

– Так ведь уже залезали...

– О-о-о! Три раза!

– А, ну да, ты же лучше знаешь.

– О-о-о, мне да не знать! Они как залезли у дом у последний раз, пили-гуляли, усе вверх дном подняли.

– Да уж видел. – Мне больно было вспоминать разбитые окна, перевернутые постели, сломанные замки на дверях. И, главное, – принесенная из сеней гора газет и старых бумаг, разбросанная по полу в избе. Сверху валялась разбитая керосиновая лампа. – А лампу с бумагой они зачем разбросали?

– Они как пить стали, слышу, у них дым коромыслом и разговор пошел – дом спалить. Я лампу у во двор вынес, керосин, какой оставался, за сараем вылил. А пока они за бумагами у сени выходили, я у них спички стащил и свечу задул. Они пьяные, ругаются. Потоптались у темноте, спичек не нашли и убрались. А я у них, пока они толкались, куртку и фуражку забрал, спрятал на чердаке.

– А! Так это ты куртку спрятал. А я думаю, как же они на чердаке их забыли? Я их в милицию отдал, когда воров искали.

– Ну и что, нашли?

– Да ну – «нашли»! Да если б я их за руку поймал и привел в милицию, и то, наверное, сказали бы: «А это, действительно, воры? Докажите. А-а, ну их!» Да им отпечатков пальцев и вещественных доказательств все равно мало. Так что зря мы с тобой старались.

По шагам на потолке было слышно, как он переживает. Походил, сел опять у трубы.

– А ты для чего на входной двери пробой вынимаешь с замком вместе? А?

– Да ключ потерял. Прятал все время под застрехой, а он, видно, упал. Я шарил-шарил – как провалился! А сейчас под снегом и вовсе бесполезно искать. Теперь вынимаю пробой вместе с замком, а потом на место ставлю.

– О-ох, и непоря-ядок. Это ж только от честных людей!

Я слышал, как он повздыхал, поерзал в тишине и тихо-тихо запел, словно замурлыкал какую-то длинную песню.

Утром проснулся я поздно. В избе было прохладно. Готовя завтрак, я вспомнил ночной разговор, положил на тарелку хлеб, кусочек колбасы и конфету. Вынес и поставил на полочке возле чердачного люка. Позавтракав, я знал уже, чем себя занять. Укрепил двери и повесил замок на пуньке, занялся потолком в горнице, обмазал печную трубу, сходил за водой, наколот дрова, натопил печь. Между делами, ради перекура, подходил к березе у калитки, вдыхал прохладный, чистый воздух, который в городе можно продавать – и отбою не будет, и с радостью смотрел на деревню, поле, бурый лес, березовую аллею. В вечеряющем воздухе тихо звучали мелодии рождающихся стихов.

На пригорке – домик в два окошка,
Перед ним – березки у пруда.
Поздний вечер, звезды. Лишь гармошка
Согревает душу в холода.
В снежном поле – ветер-завируха,
Снег сметает меж березок в пруд.
Деда два да лишь одна старуха
Меж двенадцати пустых дворов живут.
Заметает снег пустые сени,
Сыплет в дом между прогнивших слег.
За окном разбитым бродят тени
И повсюду только снег да снег.
Но, как жизни след, тропа-дорожка —
От крыльца к крылечку, между хат...
Снег, печной дымок, поет гармошка,
Окна изб лампадками горят.

Темнело быстро, и уходить не хотелось, но нужно было подложить дрова в прогоравшую печь. В сенях остановился, посмотрел на полочку. Все было на месте, не было только конфеты. Вместо нее лежал потерянный ключ. Я взял его, посмотрел на ход, ведущий на чердак, громко сказал:

– Спасибо тебе. – Радуюсь, вошел в избу, положил ключ на стол возле сахарницы, снял чайник с плиты. Пил чай вприкуску, глядя на ключ, вспоминая бабушкины рассказы про «хозяйина». Что-то было главное в тех рассказах, что забылось. Напившись, посмотрел на стопку исписанных листков на столе. Надо бы еще поработать. Вставая, пошарил под столом упавший с ноги тапок, не нашел. Заглянул под стол, увидел его лежащим почему-то под лавкой у стены, и вдруг догадался!

Я вышел в сени, подставил лестницу на чердак. Поднялся, зажег свечу. «Где-то с краю я видел его». Сначала различил в полумраке старый портфель, потом плитку без ножки, удочки. Под пыльной тряпкой, бывшей когда-то пиджаком, я нащупал лапоть. Слава богу, не выбросили, не сожгли. Он был старый, задеревенелый, серый от пыли и времени. Спустился, поставил его в угол у двери, вынул из кармана конфету и положил в лапоть. Не оборачиваясь, глядя в лапоть, сказал:

– Знаешь что? Поедем со мной в город, в новый дом. Дом без хозяина – сам знаешь... А летом я твой лапоть сюда привозить буду. Ладно?

Постояв, пошел в избу. Подложил дров в печку, собрал половики и, побыв на улице и померзнув, вытряхнул их.

Занавеску на окне у письменного стола я закрывать не стал. На дворе было уже совсем темно. Деревенская сторона светилась редкими огоньками. На душе было грустно и легко. Вспомнившийся дневной вид из окна и эти огоньки в темноте вдруг стали тем пейзажем, который я ручкой стал зарисовывать непонятным пока самому образом:

Днем в окошке – деревня, словно поезд,
Остановившийся над прудом...
Дома – вагончики: нечастые, неспешные пассажиры.
В редких вагонах-теплушках – дымок над крышами.
Долго стоит, весь день.
Вечером тоже стоит допоздна, видно даже,
Что в четырех вагонах
Пассажиры ждут, – когда поедет?
По светящимся окошкам вагончиков видно...
В остальных вагонах пассажиры, видимо, не дождались.
Сошли...
Пусты их вагончики.
Станция-то – Афонина, где-то там, наверное, и локомотив.
Свет на станции всю ночь горит.
Сижу весь темный вечер, жду.
Поезд все стоит, – по окнам видно.
Куда же он поедет?
По заревам на ночном небе видны станции...
В Измалково? В Знаменку? В Лебяжку?
Или совсем в другую сторону – Озерки?
Ночью выглядываю в окно – уехал поезд,
Одна Афонина станция осталась.
Утром поезда не видно – туман.
Когда туман медленно рассеивается —
Снова весь состав на месте,
Только вагончиков в нем больше,
Чем в кромешной темноте.
Эх, деревня-поезд, куда ты едешь и зачем?

Сваты

Весь сентябрь дожди то хлестали, пеня лужи с чуть торчащей из них молодящейся гусиной травкой, то нудно сеяли, развозя в кисель дороги. В такую распутицу не только машины, но и трактора по ним проезжали с трудом. Октябрь распогодился: посветлели накатанные дороги, снова весело засуетились на деревьях воробьи. Несмотря на заморозки, воровато прихватывавшие по ночам верхушки трав в низинах, дни стояли звонкие, теплые и до того ясные, что из окон избы Чеботаревых, стоявшей на краю райцентра, была видна за тридцать пять километров городская телевышка. В один из вечеров в дверь дома Николая Чеботарева постучали. Николай только что вернулся с работы и ужинал, поэтому, когда он открыл дверь, от него вкусно пахло щами и чесноком. В госте Николай узнал своего дядю Матвея. Последние десять лет дядя жил в деревне, километров за двадцать пять от Николая, а в городе у него была квартира, оставленная сыну с семьей. Дядю Николай видел редко, заезжая проведать, когда в его краю были какие-то дела, а дядя у него и вовсе был лишь один раз, в прошлом году, на проводах сына в армию. Николай обрадовался:

– О! Дядя Матвей, здорово! Заходи.

Матвей молча пожал Николаю руку, вошел в сени, достал из кармана брюк бутылку, поставил на лавку у двери, чтобы не мешала разуваться.

– А я как раз ужинать сел. Пойдем на кухню, со мной поужинаешь. Наталья сегодня допоздна дежурит, еще с работы не пришла.

Матвей взял бутылку, прошел на кухню, поставил ее посреди стола, сел.

– Вот... попроведать пришел.

– А-а! Это хорошо.

Николай достал из шкафчика два стакана, налил в тарелку щей, подвинул Матвею. Глядя, как дядька, открыв зубами бутылочную крышку, налил по полстакана, спросил:

– Дядь Матвей, может, грибков принести и огурцов с подвала?

Но Матвей остановил его взглядом из-под бровей и махнул рукой – ладно, потом... садись. Николай сел.

– Как там тетка Варя? – спросил он.

Матвей поднял стакан, вздохнул:

– А чего ей исделается? – протянул его над столом. Николай с готовностью чокнулся...

Когда Николай вернулся из подвала, принес грибы и огурцы, дядька сидел, хмурил брови, ворошил на голове волосы. Николай достал еще одну бутылку. Пока накладывал в тарелки и резал хлеб, Матвей глядел на бутылку. Николай сел, разлил по стаканам, дождавшись, пока дядька возьмет стакан, стукнул по краю и, сказав: «Ну, будь здоров», – выпил. Матвей все смотрел на бутылку, держал стакан.

– Дядь Матвей, ты чего?

Матвей тяжело вздохнул:

– Как там без стекла?

Николай перестал жевать:

– Без какого стекла?

Матвей посмотрел ему в глаза:

– Да я, когда уходил, так дверью саданул, где-то стекло аж посыпалось. А где – и не глянул. – И выпил залпом. Поморщившись, зацепил гриб, жевал, глядя в темное окно.

Николай положил локти на стол, спросил:

– Так ты что, поругался с тетей Варей и ушел?

– Да, еще вчерась ушел.

– Вчера? А где ж ты был?

– А у стогу спал. Замерз, как собака. У чем был, у том и выскочил. Ночью шел, да краешками, как вор... твою матушку совсем!

– А чего не днем?

– Днем увидют. А я следы путал, чтобы ей кто не рассказал. Пусть-ка она там попереживает. Не все ж мне одному усю жизнь мучиться!

Николай откинулся на спинку стула:

– Ты прям как Лев Толстой!

– Да? – Матвей заинтересованно посмотрел на племянника. – А он чего?

– О! Да чего! Он, земляк наш, характер прояви-и-л, я тебе скажу. – Николай, вдохновленный намечаемым разговором и только что начатой бутылкой, чувствовал себя хозяином стола.

– Это какой Толстой? Который «Война и мир?» Так он вон где жил, паря, где-то под Тулой.

– Да! А помер-то у нас, рядом. Станцию Лев Толстой знаешь? Вот! Ты, дядь Матвей, как моя начальница. – Николай работал водителем, возил какую-то районную начальницу и при случае рассказывал про нее всякие истории. – Она, хоть и культурная, а про Толстого тоже ничего не знает. Про земляка-то! Всю жизнь проработала в исполкоме, а не знает, почему город называется Лев Толстой! Я ей и рассказываю: там станция раньше была, она и сейчас есть, Астахово, ай Астапово. Вот. Толстой у себя в Ясной Поляне жил, тут километров сто будет по прямой. Я заезжал как-то, когда в Москву за запчастями ездили. Он чего-то со своей женой поругался: та вроде говорит, мало тебе за книжки плотют, детей понарожали, а хозяйство содержать денег не хватает. Он с этого мясо есть перестал, сам босиком ходит, сам пашет, а она его все чего-то пилила.

Матвей скрипнул зубами:

– Вот зараза-то!

– Да! А Льву Толстому пришла пора помирать. А помирать он думал только в крестьянской избе, в самой простой. Вот как пришла ему пора помирать, он собрал все свои вещички в узелок и ушел. Сел на поезд и уехал. Даже билет взял не купейный, не эсвэ, а простую плацкарту, чтоб подешевле. Ему ведь надо, как он сам себе думал, в простой крестьянской избе помереть. Он ведь в Бога даже верить перестал. Не верил совсем. Тут ему царь телеграмму пишет: «Ежели ты в Бога верить не будешь, я тебя графского титула лишу». Ей-богу, так телеграмму ему и дал. Я что, брехать, что ли, буду? Тот телеграмму получает, Лев Толстой-то, прочитал, ничего не сказал, только сел в поезд и поехал в простой избе помирать. А в Бога он совсем верить перестал ай и не верил. Приезжает он на эту станцию и идет в музей помирать. Нет, чтобы в простую избу крестьянскую, ему лучший самый дом на станции подсунули. Там он и помер. А схоронили его: глядишь в Ясной Поляне на его могилку – такой вот бугорок зеленый стоит и ничего больше нету, не знаю как сейчас, может, денег выделили, памятник получше поставили. Все же человек-то известный, ни хрена себе – Лев Толстой! А чего он в Бога не верил, ты как думаешь?

– Я тебе, Коль, вот чего скажу: что он в Бога не верил – это дело его. Я и сам раньше думал, что попы воду мутят, чтоб себе получше сделать. С кадилами ходят, машут. А у меня, может, насчет Бога-то свои мысли есть. Дело не в этом. – Матвей сжал в кулаке стакан так, что побелели пальцы. – А вот в чем я его поддерживаю, так это насчет баб! Это он у самую точку попал. – Он прищурился, развернул кулак и стал снова медленно сводить пальцы. – Я бы их усах, баб этих, узял бы у коробку спичечную, посовал бы в нее, как спички, зарядил бы у пушку, да ка-а-э-к шарахнул, чтоб только перья одни кругом! Или у космос. Пусть полетают, вечные наши спутницы.

– Хэх! – Николай прищурился, крутнул головой. И у Матвея тоже вроде полегчало на сердце. Он тоже хотел улыбнуться, но вдруг вспомнил:

– Бабы мне эти!.. Тут вот у соседки зимой кобель издох, не кидать же его на улице! Пришла, говорит: закопай. Ну мы с соседом пошли, землю за огородом еле удолбили за два часа. Закопали. Говорим ей: теперь помянуть надо. Она: да разве кобелей поминают? Где ж у него душа-то? Где: я у ей спрашиваю? Да у раю! Она: как у раю? Да вот так: сама небось у церковь как чего, так бежишь да на коленки падаешь, а я, считай, вроде как неверующий усю жизнь, да и то знаю, что у раю не только змеи соблазняющие живут, а и всякая тварь. Одних только людей из рая поперли. А через кого поперли-то мужиков, ай не знаешь? Яблочков им, бабам, захотелось! Пойдем, говорю соседу, от ней толку не будет, у меня бутылка есть, помянем душу новопреставленную раба Божия Шарика да яблочком закусим, у меня моченая антоновка ядреная, так скулы и воротит.

– Так вы чего поругались-то?

– Да чего... Доняла она меня, за всю жизнь так доняла. – Матвей положил на стол руки огромными серыми ладонями вверх, как бы взвешивая на них что-то неопределенное. – И ведь чем доняла?! Ведь стерпел бы, но у ней слова – что кирпичи! Так по башке и хлещут: «Ты вечно!» говорит, или: «Да у тебя сроду так-то!» Тут разве стерпишь? Я с ней картошку тяпаю, рядом идем, она мне: «Видала я, как ты на свадьбе не в гармонь играл, а на сваху глядел! А на той неделе ты чего у магазин так долго мотался: уж не у ней ли был?» Я молчу. «А ты то-то и то-то». Я опять молчу!! Она опять!.. Я ей объясняю по порядку что и как, а она... – Матвей стукнул ребром ладони по столу. – У нас ведь как будто языки разные! Скажешь ей – ничего не понимает! Да с ней разве поговоришь! Я слово – она десять. Я со злости быстрее тяпаю, вперед уйду... Ну ушел. А обратно-то возвращаться навстречу! У нее как раз наберется всего с чертову кучу, пока намолчится, и мне – р-р-раз! – и выдаст! «Ты сrrrr-р-роду»!.. Тьфу! Так бросил бы да еще летом и ушел! Да летом ее разве бросишь? Жар вон какой стоял нынче летом, земля убьется, ее и топором не возьмешь, не то что тяпкой. – Матвей отодвинул тарелку.

Пока разговаривали, неслышно вошла Наталья, жена Николая. Увидела Матвея, улыбнулась. Николай развел руками:

– А вот и Наталья! – Хотел встать. – Наташ, а у нас гость.

– Вижу, вижу. Сиди, Коля. Здравствуйте, дядя Матвей.

– Здравствуйте, Наташа.

Наталья прошла в спальню. Николай выдвинул из-под стола табуретку, позвал:

– Наташ, есть будешь?

Та ответила из-за занавески:

– Да я неголодная. Только устала за смену. Вы, дядь Матвей, извините, мы завтра поговорим.

Матвей тронул Николая за руку, шепотом спросил:

– Ты-то как со своей?

Николай почесал затылок.

– Да Наташка моя ничего. – Николай расправил плечи. – Хорошо с Наташкой сошелся, а не с Лариской. Чуть ведь было не женился на ней. Красивая была... Только как-то она мне сказала, – поморщилась так и сказала: что-то свинарником пахнет. Это я к ней на свиданье торопился и заскочил свинье дать. И ведь учуяла! А? А Наташка все дела делает: и рассаду сама, и по дому, поросят тоже двух держим.

Николай зевнул, спросил:

– Может, спать пойдём?

– Пойдем...

Матвей взял Николая за рукав.

– Коль, погоди... Ты как, если я у тебя поживу? А?

– Да живи сколько хочешь. Хоть в Вовкиной комнате. Ему еще год служить.

– Так, значит, не прогонишь?

Николай приобнял дядьку за плечи, укоризненно глянул:

– Дядь Матвей! Да будет тебе!

– Ну, тогда отбой?

– Отбой.

Николай пошел в спальню, а Матвей в маленькую комнатку за печкой. Слышно было, как Матвей долго не ложился, кряхтел. Минут пять он стоял у окна, там с краю знакомо скрипела половица, потом Матвей вздохнул и тихо заматерился. Половица замолчала, шаги осторожно направились к спальне. Занавеска на дверях нерешительно задрожала, Матвей, два раза тихо кашлянув, шепотом позвал:

– Коль... А Коль?

– М?

– Ты не спишь?

– А что?

– Выдь сюда.

Николай вышел. Матвей, словно извиняясь, зашептал:

– Коль, у тебя ручки с листком нету?

– Бумага, что ли? – не понял Николай.

– Да. Простая. Любая, чистая чтобы.

– Да тут где-то Володькины старые тетрадки были, если на растопку не пустили.

Он подошел к выключателю, зажег свет.

– Чего зажигаешь-то? – испуганным шепотом спросил Матвей и показал глазами на занавеску, висящую на двери спальни. – Разбудишь.

– А-а, ничего! – Николай поискал в шкафу, перейдя с шепота на негромкий голос. – Она спит уже.

Николай нашел тетрадь, пролистал ее.

– Столько хватит?

– Хватит, хватит.

– Ты свет зажигай, если надо.

Николай зевнул и пошел спать, а Матвей зажег лампу на столе, присел на табуретку. Погрыз кончик ручки, почесал им в волосах и принялся писать:

«Дорогая моя Варя...» Подумав, смял листок и, разгладив новый, написал на нем: «Жена моя Варя»... Просидев с час, то наклонясь близко над листом бумаги, то глядя в окно, он отложил ручку и перечел написанное:

«Жена моя Варя. Ты наверно думаешь что. Я такой у тебя один дурак. Но дураки такие мужики наверно все. А есть и которые умные совсем на целый мир. Ты наверно про Толстова слыхала. Уж про него дурак не скажешь. И то хоть он на весь свет нашу горячо любимую родину прославил своим великим творчеством через огромный роман «Война и мир» с другими произведениями писательского творчества в сто томов. И то жена его понимала с трудом а больше норовила подначить и учить своим бабьим умом. Вот так они и жили. Он учил бессмертным своим творчеством весь мир а она его какой ложкой щи хлебать. А то он без нее етова не знал а сам до ста лет чуть не дотянул. Попал он как кобель у мышеловку. Послушал он ее претензии за всю свою жизнь да ночью и ушел пешком куды глаза глядят. Щастья своего искать. Не дошел правда. Это я брехать не стану. Но главное по своей воле он последние денечки прожил. Шел полями широкими да лесами высокими с родников воду прозрачную пил тем щастлив был он свои последние денечки. А как помирал у чужих людей так всю свою дорогу вольную вспоминал. А жену говорит мою приказывал хорошим людям у которых помирал не пускайте на

дух близка. Не хочу от нее портить свое счастье что нашел скраешку своей длительной жизни. Так ведь и помер да так ее до себя и не допустил так он на нее осерчал через ее бабы притензии до мужиков.

А еще спрошу тебя Варя через чево и письмо пишу. Как там наша Зорька. Нищасная наверна стоит благим матом орет нидоиная. Я ж ее на своих руках выпестовал и ходил за ней как за дитем родным. Ты тогда Соньке Бутовой скажи пусть подоит ежели ты у меня безрукая такая. А меня лутче не ищи я у хороших людей в надежном от внутренних органов милиции месте и помирать пока что не собираюсь. А ежели собираюсь тебя приглашу ли ни знаю. Силна на тебе пока сирчаю. Твой бизаветна преданный друг жизни каторова ты за всю нашу совмесную жись не ценила ни на вот столько. Кланяйся соседу нашему Дмитрию Михальчу и жене ево Соне бириги карову нашу кормилицу как зиницу ока и все мои гармони.

Твой пока што муж Матвей Иванов Чеботарев».

Перечтя, Матвей дописал: «*Дети как приедут и будут успрашивать где отец скажи пошел от такой хорошей жене босиком счастье искать*». Подумал, хмыкнул: «ну брехать ты здоров!», тщательно зачеркнул слово «*босиком*», чтобы его нельзя было прочесть, потушил свет и лег спать.

На работу Николай собирался рано, за окнами было еще темно. Щелкнув выключателем, прищурился от брызнувшего в глаза света. Матвей уже сидел у окна, одетый, тоже шурясь, обернулся к Николаю.

– На работу?

– Угу. – Николай зевнул, поставил чайник на плитку.

– Не рано?

– Аккумулятор подсел, может, подзарядить придется.

Николай отошел от зеркала, дунул на расческу.

– Садись, чаю попьем.

– Не, я не хочу. Мы рано не завтракаем.

– А чего встал? Полежал бы.

– Да я сроду не лежал. – Матвей отвернулся, взглядываясь в темное окно, сказал: – Сейчас бы со скотиной крутился, за водой ходил. А у тебя вода в доме. Хорошо...

Николай налил в кружку чай, густо намазал на четвертку батона масла, громко схлебывал парящий чай, хрустел кусочком сахара и, откусывая большие куски, торопился жевать. Кивал головой:

– Угу... с водой – да! Второй год как оттащались из колонки. У меня с утра Наташка похозяйничает. Ей к девяти. Ну, я пошел. – Николай отставил кружку, скинул в ладонь крошки со стола, втянул их губами. Утеревшись полотенцем, взялся за куртку.

Матвей кашлянул.

– Коль, ты скоро с работы придешь?

– Не знаю... как получится.

– А пораньше не сможешь?

– А что?

Матвей глядел виновато.

– Может, вечером... съездишь ко мне? – упреждая вопрос, отгородился ладонью, убедительно сказал: – Один, без меня! Узнаешь, как корова, доеная или нет. Стекло еще это высидил. Может, в избе холодно, она хоть бы подушкой догадалась заткнуть. А? Только про меня ничего не говори; скажи – так заехал, мимо ехал по работе. Может, она еще и ничего?

Николай, задумавшись, побарабанил по столу.

– Вот эту... бумажку ей передай. – Матвей крутил в руках свернутый треугольником листок.

– Хорошо, давай. Я съезжу. – Николай уже взялся за листок, но Матвей вдруг махнул с досадой.

– Нет, бог с ним, с письмом. Тебе ж нельзя выказывать, где я есть. Ты уж просто узнай: как там она, как дом. И все.

– Ладно, все узнаю.

Матвей вышел следом за Николаем. Стоя на крыльце, глядя на уходящего в темноту Николая, негромко окликнул:

– Коль!

– А?

– Ты мне дела какие-нибудь дай? Если чего надо по дому – ты скажи.

– Да ничего не надо. Отдыхай. – И хлопнул калиткой.

Матвей постоял, слушая, как где-то вдалеке прогудела машина, как в хлеву у соседей в ответ на звякнувшую дужку подойника нетерпеливо замычала корова. Вздохнул и пошел в дом.

Наталья уже встала, затопила печку.

– Доброе утро, дядь Матвей.

– Здравствуй, Наташ.

– Завтракать давайте.

– Да... я уж с Николаем позавтракал. – Он стоял у двери, мял в руке письмо.

– Как там тетя Варя – ничего?

– Ничего. – Матвей похрустел щетиной на щеке. – Все вроде по-старому.

– Были ваши-то? – Наталья поставила на плиту сковородку. Матвей отошел от двери, сел на табуретку рядом.

– Наши? Да... А вообще-то, давно уж чего-то не было, как капусту резать приезжали.

– О-о! Вы уже капусту порезали?

– Да. Недели с три. В этом году, видишь, рано заохлодало.

Пока Наталья выходила дать пороссятам, на плите шкворчала яичница. Вернувшись, сняла сковородку, поставила на стол.

– Садись, дядь Матвей.

– Но он торопливо ответил, отвернулся даже.

– Нет-нет, я уже... Ты завтракай, а на меня не гляди.

– Наталья вышла из-за занавески одетая, погляделась в зеркало, поправила волосы.

– Дядь Матвей, у вас какие-то дела здесь?

– Да я... По пенсии вот надо...

– Пенсия? Так у меня в собесе знакомая работает. Я с ней поговорю.

– Нет, нет, не надо! Я лучше потом сам схожу, мне в магазин еще надо, пару ведер купить или бачок для воды.

– А... ну смотрите, если что нужно.

Когда за Натальей закрылась дверь, Матвей, поморщившись, выругался:

– Вот твою мать-то... Как вор... на чужих санях кататься-то...

И, глядя в окно на уходившую Наталью, длинно выдохнул:

– Э-э-эх...

Рабочий день подходил к концу. Николай оформил в конторе путевки, вышел во двор. У его машины стояла Наталья.

– Ты что?

– Коль, чего там у дяди Матвея с тетей Варей?

– Да ничего. Спроси у него сама, если интересно.

– Ничего он мне не скажет, только, я вижу, у них что-то не то. Поругались?

– Ну поругались.

– И он ушел. Да?

– Николай хмыкнул, взялся протирать лобовое стекло. Наталья остановила его, глядя в глаза, сказала:

– Коль, давай съездим к ней. Узнаем, что там у них было. Вижу ведь, мучится он.

Николай прислонился к двери.

– Я и так уже еду.

– Что, он сам попросил?

– Сам.

Наталья обошла кабину, открыла дверь, села в машину.

– Ты куда собралась?

– Я с тобой.

В доме Матвея Чеботарева на тумбочке, на телевизоре, на шкафу, под тюлевыми накидками стояли гармони.

Варвара сидела у стола и, прикрывая рот краем платка, разговаривала с Натальей. Наталья больше слушала. Николай стоял на крыльце.

– Он позавчера на ране дверью хлопнул, аж часы устали, да ушел. «Уела мене» – только и сказал. А чем я его уела-то, и ума не приложу?

– Да бог с ней, с сорой-то. Вы ж как-то сходились?

Варвара, мечтательно улыгнувшись, достала из шкафа целлофановый пакет, вынула оттуда пачку фотографий, отложив две-три, нашла одну, на которой была снята девушка с добрым, красивым лицом, с головой не манерно, но очень просто и естественно склонившейся.

– Мамочки! – тихо охнула Наталья. – Кто ж это? – Глаза ее широко и выжидательно глядели на Варвару. – Артистка, что ли?

Варвара, сдвинув платок, провела по волосам рукой и, склонив, как на фотографии, голову, вздохнула:

– Артистка...

– Батюшки! – догадалась Наталья и закрыла рукой рот; словно боясь сглазить, спросила: – Теть Варя, ты, что ли?

Та, только чуть улыбаясь, качала головой.

– Боже-ж ты мой, да как же... вот ведь... – Наталья оживилась, глаза ее загорелись, она даже подвинулась ближе. – А вы, тетя Варь, о чем с ним говорили?

– Да об чем говорили-то... – Смотрела на фотографию: – Он росточком пониже был, идет с гармоней, а я гляжу, какая сторона дороги по косогору пониже, по той и иду. Или если дорога ровная, я вот так... – Варвара чуть присела. – Чуть подберусь, чтоб он повыше казался, ему чтоб перед людьми неловко не было, – и идем с ним усю дорогу.

Варвара вдруг опять заплакала, трясаясь всем телом:

– Ой, да иде ж он есть-то, да куда ж его ножки-то завели, ой, да не упал ли где по дорожке, не лежит ли на земелюшке холодной...

Наталья тронула ее за плечо.

– Теть Варь, да что ж ты так-то?

Но Варвара, словно не слышала, убивалась:

– Да зачем же ты ушел-то, Матвеюшка, соколик мой... Да что ж ты мне слова-то доброго на прощанье не сказал. Ой, да откликнись-отзовись, друг ты мой сердешный. Ой, да подай мне хоть вестушку малую. Ой, да кричит-орет благим матом наша скотинушка, ой, да телевизор-то включить я не умею...

Николай, обеспокоенный печальными звуками, вошел в избу, глянул на Наталью и окликнул тетку с порога:

– Теть Варь! Ты чего это? Да чего ты по нем, как по покойнику, голосишь?

Он перебил Варварин плач, и она подозрительно спросила:

– А ты что: ай знаешь что про Матвея?

Николай замялся, и Варвара все поняла.

– Да где он есть-то? Чего молчишь-то?

Николай скрипнул с досады зубами. Варвара обернулась к Наталье:

– Да чего ж вы молчите-то? А? Приехали и молчите. Ведь знаете что-то?

Гости молчали, как партизаны. Тогда Варвара всхлипнула, припала к Наталье:

– Наташенька, милая, знаешь что – скажи! Ну чего ж ты все молчи-и-ишь-то?

У Натальи сердце разрывалось:

– Да не убивайтесь, тетя Варя! Все у него хорошо.

Варвара, глянув на Наталью, твердо спросила:

– Где он есть? – И, чуть скривив губы: – Живой?

Видя, что у нее слезы были наготове, Наталья не выдержала, предупредила их:

– Да живой, живой он! Не волнуйся, тетя Варя! У нас он живет.

Слезы у Варвары сразу высохли:

– И давно он у вас?

– Вчера пришел, вечером.

Николай, матерясь одними губами, только хлопнул по коленке и пошел опять курить на улицу. В дверях быстро глянул на Наталью, постучал сначала пальцем по виску, а потом прижал его к губам. Варвара обмякла, взяла Наталью за руки, умоляюще глядя ей в глаза, спросила:

– Наташенька, как он там? И где ж он был-то этих две ночи с его радикулитом? Не у ней ли?

Николай, все еще стоя у порога, плюнул за него и почти закричал:

– Да нету у него, тетя Варь, никого! Он же мне сам сказал! Вот ведь понапридумывают!

Не разгребешь потом! Чего ж нам, шкуру, что ли, с себя снимать, чтоб вы, бабы, поверили?

Наталья обернулась к Николаю:

– Коль, подожди. – На что Николай только махнул рукой и вышел. – Да не волнуйся, тетя Варя. Он сказал, что ночевал в стогу, чуть подмерз, но у нас тепло, он в Вовкиной комнате спит.

Варвара совсем успокоилась, обернулась к иконе, спокойно перекрестилась:

– Слава тебе, Господи, живой-здоровый...

Наталья, словно чувствуя за собой вину, заторопилась:

– Да все у него в порядке, тетя Варь, он сам-то переживает очень, только, видно, гордость у него...

– Ой-ей-ей! – протянула Варвара. – Вот уж этого у него на семерых.

Она обняла Наталью:

– Я, может, за это его и полюбила. – Вздыхнув, она усмехнулась. – Ой, да чего там гармошка! Я бы его и без гармонии увидала. Глянь, какие глазищи у него, хоть и ростом не удался.

Наталья засмеялась, обняла Варвару, приговаривала:

– Вот и слава богу, и слава тебе, Господи... И чего вы тут, как дети малые, все делите?

– А у вас с Колькой чего, никогда до тарелок дело не доходило?

Наталья мечтательно вздохнула:

– Да нет... Я если что – молчу. – Обернулась к Варваре. – Я ведь, тетя Варь, люблю его. Он другой раз сиди-и-ит зимой в доме. Мороз на улице, все оконушки белыми веточками взялись – ничего не видать. Он си-и-и-дит, и в окошко губами ду-у-ует и пальцем скребет дырочку, ровно маленький. Я сзади тихонько подыду: «Ай ждешь кого?» Он вздрогнет, но виду не кажет, только соберется да скажет: «Тебя и жду. С работы». А у меня сердце всё прям захолонет.

Наталья улыбалась, даже глаза рукой закрыла.

Бабы успокоились, говорили тихо. Варвара рассказывала:

– А мы уж совсем собрались у город съезжать. Силы не те, да и рука никуда не годится. – Помяв пальцами левой руки правую кисть, показала, как тяжело даются ей эти движения. – Телку продали, одна корова еще пока осталась. Гусей порубили. Усех. Индюхов тоже: из трех десятков два только осталось. Мы десять штук порубили, какие постарше, а эти ходют по двору. – Она даже наклонилась к полу, чтобы и самой увидеть, и показать, как они ходят. – Они к мне подойдут, стоять, глядеть на mine: не поймут, куда ж остальные подевались. А мне жалко их – сил нету. А Матвею, думаешь, не жалко? Еще как! Он только виду не показывает, а как увижу – у него глаза блестять, отвернется, я и не подхожу. Он ведь всю скотину, как маленьких детей, любить. Жалостливый дюже.

Когда Николай, вдоволь накурившись, вернулся с улицы, у Варвары все отстоялось, улеглось, и она уже второй раз строго наказывала, теперь и Николаю:

– Вы когда приедете, Матвею ничего не рассказывайте, скажите только: все хорошо, корова доена, и... Да все скажи, хорошо...

Возвращались в сумерках. Свет от фар на кочках плескался по краю березовых посадок вдоль дороги. Николай беззлобно, но с досадой спросил, выбрасывая окурок за стекло:

– Тебя кто за язык тянул: мол, у нас дядя Матвей.

Наталья снисходительно посмотрела на мужа.

– А что ж, тебя, что ли, ждать, пока скажешь?

– А я бы ей ничего не сказал...

Наталья вздохнула и легко, чуть улыбаясь, сказала в лобовое стекло:

– Ох, Коля, Коля, я ли тебя не знаю?

Николай серьезно и строго сказал жене, стараясь показывать, что теперь ему важна только дорога:

– В общем так. У ней мы были, об нем ничего не говорили, у ней все хорошо! Понятно?

– Чего уж там понятней. – Наталья смотрела на Николая, глядя его по плечу.

– Ну и вот! – успокоившись, сказал Николай, будто точку поставил.

Через три часа веранда Матвеевой избы светила во все окна, хмельным голосом кричала в ней веселая гармонь.

А Варвара, сидя рядом с Матвеем за уставленным закусками и бутылками столом, снова разбирала фотографии; все время улыбаясь, показывала их склонившимся над ними с двух сторон Наталье и Николаю и рассказывала.

– Ой, да за меня ведь восемнадцать сватались, а этот дурачок. – Она обращалась к Матвею. – Деятнадцатый. Я ж, Наташенька, в двадцать пять лет замуж вышла. Нагуляться думала. Нюшка Хвостова моей подружке Полинке говорила: наконец-то Варька Осипова замуж идет, я хоть в первых девках теперь похожу. А я и не знала, что меня первой считали.

Наталья восхищенно глядела на Варвару:

– А хорошо быть красивой?

– А то нет!.. Приятно! А какие за меня сватались!

Матвей накинул застежки на меха гармони, скептически спросил:

– Эт какие же красавцы?

– Да хоть Лешка скородненский.

– Это рябой который?

– Чего ж он, Матвеюшка, рябой? Лицо у него чистое было. Или хоть Семен...

– Это Семка, у какого ширинка на штанах сроду не застегивалась? – сказал Матвей, дотягиваясь горлышком бутылки до дальней рюмки.

– Да будет тебе! – Варвара махнула на него рукой и обернулась к Наталье: – Ко мне первый раз сватались в семнадцать лет. Это в сорок пятом было, он только с фронта пришел. А мне ж на улицу выйтить не в чем было, не то что замуж. Мы ж погорельцы были. Дом у войну сгорел, отец землянку вырыл, мы в ней полгода жили, пока отец с братом наскоро из

веток дубовых домишко сладили, изнутри обмазали, побелили и картинками завесили, вроде как дом получился. Какое там приданое! Да я и сама не хотела замуж идтить. Я никогда не боялась, что замуж не выйду, потому и не торопилась. Сваты, бывало, придуть, а я на ферме кой в чем одетая. Полинка, подружка, прибегает, кричит: «Варька, преодевайся скорее, к тебе сваты пришли». Ой, говорю, опять. Да кто хоть? Она – «такие-то». А ну их, говорю, Полинка. «Да ты что!» Глаза у ней – вот такие вот! «Батюшки! Да ведь сваты! И как ты отказывать не боишься? Варька, пошли!» А я переоделась – и айда на гулянье у Круглую.

– А сваты как же?

– А сваты посидели-посидели да так и пошли. Семка, жених, вышел, плачет! Брат мой ему говорит: «Брось, Семка, другую найдешь». А Семка – «Нет, другой такой на всем свете не найду». Так мне брат потом и проговорился, как Семка сказал: «На всем свете такой не найду». Я вечером домой прихожу – отец на меня: «Такая-растакая! Ты чего меня позоришь?» Грозился, но меня пальцем не трогал. Он как увидит – другие сваты идут, мне и говорит: «Смотри, Варька! Из дома ни ногой!».

Матвей улыбнулся:

– Это когда ты три платья меняла?

Варвара засмеялась:

– Да... Как отец приказал, стою у избе. Ну, отец, сватья о своем говорят, у них бутылка на столе, а жених тоже стоит, на меня глянуть боится. Отец мне шепчет: «Иди к Полинке, у нее платье, может, какое получше наденешь». Я к Полинке сбегала, платье ее надела, назад вертаюсь. Опять стою, жених тоже подойти боится. Отец еще выпил, говорит: надевай другое платье, еще чтоб получше! Мы с Полилкой из избе выбежали да прямо на Круглую, деревня такая была.

– И что же, тетя Варь?

– Да что... Прибежали на Круглую, а тут он.

– Кто?

Варвара засмеялась.

– Да кто, вот он, Матвей, со своей гармонью.

Матвей, довольный, спросил Варвару:

– Ну и где они, все твои восемнадцать? Там? – И показал в пол. – А я – вот он, – расправил плечи, и из под ворота рубахи глянули полосы тельняшки.

– Да ладно тебе, не все. Семен скородненский жив еще, Лешка глотовский тоже, видела недавно у городе. Какие они все ребята были хорошие. Красивые, высокие...

– Все сохнешь, поди, по ним-то?

– Ай не видишь, уся иссохлась. Ты-то по той рыжей, что на свадьбе была, совсем истратился. Так что молчи уж, девятнадцатый...

К полуночи потеплело. Скрылись звезды; и подошедший к деревне с полуночной стороны заморозок, испугавшись спустившегося к прудам тумана, отступил к верхушке поля.

Долго еще светились окна чеботаревской веранды, долго потом прощались на улице, никак не могли уехать Николай с Натальей, слушая частушки под переборы гармонии. Они уже сидели в машине, когда Матвей снова потянул меха, обернулся к Варваре и громко запел:

Ой ты, милая моя,
Чем обидел я тебя?
Купил платью и платок,
Сам остался без порток.

На что Варвара сразу ответила:

У миленка моего
Восемнадцатая я,
Собирай, милый, бригаду:
Бригадиром буду я!

Машина тронулась, Наталья выглянула в окно: Матвей с Варварой так и стояли под руку, глядя вслед отъезжающей машине. Одного роста, одинаково счастливые. Время все равняет.

Про баню, ботинки и хороших людей

Н. Василенкову

Николай очнулся оттого, что его грубо расталкивали:

– Э-эй! Слышь! Вставай, через полчаса твоя станция!

С трудом открыл глаза:

– Какая станция?

Прямо перед его глазами было круглое сердитое лицо проводницы.

– Какая-какая, Становая! Вставай, вставай. – Увидела, что глаза его открыты, и пошла по проходу, громко, будто для всех, ворча: – Очухался! Артист.

Николай свесил голову с полки. В голове заломило, и он, успев увидеть любопытные глаза сидящих внизу бабки в платке и женщины, да спину лежащего на полке рядом мужчины, снова лег и закрыл глаза.

– «Это откуда же я еду? – Николай положил ладонь на лоб. Внизу бабка продолжала разговор с соседкой. Николай полежал, послушал, приходя в себя.

– ...отец-то умер раньше матери, намного, его на старом кладбище похоронили, где рынок. Знаешь, такой крытый рынок, его еще «цирком» называют. Когда его построили, хоронить на том кладбище запретили. Да нет, даже еще раньше. Мать хоронить туда не разрешили, к отцу-то, ее уже за городом хоронили. А теперь, говорят, закон вышел, опять разрешили «подселать» к своим.

Николай, вернувшись к своим мыслям, потер лоб и вспомнил, откуда он едет, и решил: «лежи не лежи, а вставать надо». Осторожно свесил ноги, спустился. Сел с краю на скамейку, оглядываясь и ища свои ботинки. Бабка коротко, внимательно глянула на него, продолжала:

– Вот мне семьдесят три – и думай теперь, куда ложиться. А раньше, до войны, когда мои родители в деревне жили, там все вместе лежали, рядышком. Там и бабки мои, и тетки. Я вот ездила тетку проведывать, ей девяносто, но – ничего, ходит сама, все помнит, так заходила на кладбище, все кругом наша родня. И кладбище такое... прямо как дома. Тихое. Тетка мне говорит: все, говорит, Полинка, нажилась, уже туда хочу. А я теперь куда? Ни пожить толком не пожила, – то бараки при заводе, то коммуналки, – ни помереть теперь спокойно. А кто виноват?

– Да кто виноват! Да никто не виноват. Государство, выходит, за нас решало, как жить да где кому лежать. Жили, как заводные, прокружились жизнь, про смерть ведь не думали. Мне дочь говорит, ты мать... – Тетка перешла на шепот.

– Ох, да итишкина же мать-то... – шептал Николай, заглядывая под сиденья. Но там стояли лишь женские туфли, черные полуботинки и новые дорогие ботинки. – Да где ж они есть-то? Вот ведь и приспичит не ко времени, – шептал Николай. Ботинок его, старых, удобно растоптанных под мозоли ботинок, не было. Николай глянул и под боковое сиденье, и по проходу – нет, их нигде не было. Не было и за перегородками соседних купе, куда он сунул голову.

– Вы ищите чего? – сердобольно спросила бабка. – Сумка ваша вон у окошка. Вы как вчера зашли, так ее туда поставили.

– А? Сумка? Да... Ага, вот она. – Николай достал сумку, попутно заглянул пониже. Там стояли чья-то сумка, пакет, чемоданчик, благородно светились чистой коричневой кожей модные ботинки, а его обуви как и не было. «Как провалились. А тут еще приспичило – терпежу нет» – мучился Николай. И вдруг его осенило: «Сперли! Конечно, сперли. Куда же им еще деваться».

Николай снова сел на край полки, чтобы не привлекать внимания. «Потерплю. Тут ехать-то осталось...» Пыля веником, по проходу двигалась суровая проводница, у его ног остановилась.

– Встал? – И чуть смягчилась, видя как ему тяжело, добавила: – Билет-то тебе не нужен? Николай поднял на нее виноватые, больные глаза.

– Вижу, вижу, что не нужен. Давай собирайся, да гармонь свою не забудь, подъезжаем. – И пошла мести дальше.

«О! Гармонь еще у меня!» – вспомнил Николай и, разглядев на третьей полке футляр с гармонью, снял его, успев пошарить по полке рукой, – нет ли и там случайно ботинок. Не было их и под пальто, которое лежало у него в головах.

Бабка с теткой после слов проводницы приникли к окошку. Зевнула:

– Охо-хо... И правда, подъезжаем.

– Что хоть за станция?

«Станция Дерезай, кому надо – вылезай» – хотел сказать Николай, но подумал, что шутить нечего, а еще раз пробежал взглядом по лицам пассажиров – кому это могли подойти его старые ботинки. Увидев, что соседки отвернулись, подхватил гармонь, сумку и в носках шмыгнул по проходу. По пути дернул ручку туалета. Она была заперта. Загородив ноги сумкой и гармонью, постоял в тамбуре. Дождался, пока поезд остановится и проводница откроет дверь, соскочил со ступенек, рысью перескочил низкую ограду перрона, скверик и дорогу и забежал за автобусную остановку.

Когда за станцией мелькнул последний вагон, Николай, улыбаясь, вышел из-за остановки, сел на лавку. Пошарил в кармане пальто, выгреб оттуда пачку папирос и кошелек. Папиросы порвались и рассыпались, денег в кошельке была только мелочь.

– Ни хрена себе, пофестивалил! – громко и весело сказал Николай. – За двое суток кабанчика слопать и не подавиться. – Николай нашел обломок папиросы поцелей, прикурил и, сплевывая табачинки, торжественно сказал: – Объявляются результаты вчерашнего забега в ширину. На первой дорожке выступал Николай Егорович Селиванов. Оценки следующие: кабанчик семь пудов минус две с половиной тысячи деноминированных пропитых рублей минус ботинки. В результате фестиваля в голове шумит, а в кармане тихо-тихо. М-да, результат неплохой.

– А зябко, елкин кот! – Николай потер ноги друг о друга, поставил их на сумку. Идти было девять километров, автобус же по воскресеньям не ходил. Была бы обувь, Николай даже не задумался, а теперь надо было сидеть, ждать попутный транспорт. Он опять хотел вернуться к теме: где же это я вчера... Но заскрипела телега, затопали по дороге копыта, и Николай увидел сначала знакомую лошадиную морду, а за ней и хозяина лошади – кума Сергея, сидевшего на телеге спиной к нему.

Николай подхватил сумку и футляр, кинулся к телеге:

– Вот есть все же на свете Бог! – крикнул он вздрогнувшему от неожиданности куму под самое ухо.

Оказалось, кум Сергей ездил на станцию, провожал брата, и теперь возвращался домой недовольный: сам он работал шофером, и думал отвезти брата на машине, но у него были нелады с бригадиром, тот караулил машину в гараже, выдавая Сергею ключ только перед рейсом.

– А сам сегодня после обеда погонит меня на машине в район. И как я его ни просил: дай машину с утра, тот ни в какую не соглашается, черт плешивый, – сердился Сергей. – Пришлось с утра Леньку на лошади везти.

– Кум, притормози у магазина.

– Что, лекарства купить?

– Да, а то я вчера...

– Вижу, – угрюмо сказал кум Сергей и остановился у магазина. Николай только-только стал угрывать ноги в сене.

– Кум, ты знаешь... – Николай вынул ноги из сена. – Я ведь без обуви и без копейки. Хоть четушечку.

– Да ла-адно, сиди. – Кум бросил кнут и нехотя пошел в магазин.

Через пять минут они отъезжали от магазина; Николай, морщась, зажевывал «микстуру» хлебом, дожидаясь, когда она начнет разбегаться по «фибрам души». Толкнул кума:

– А может, примешь? – показал на бутылку. Но тот с досадой отвернулся.

– Да я ж тебе говорю, мне этого плешивого сегодня везти. Если б по селу, а то в район. Ты лучше расскажи, как съездил?

– Эх-х! Первым номером нашей программы танец диких народов «ням-ням».

Николай выпростал из сена ноги, приподняв их над телегой, пошевелил пальцами.

– Видишь?

– Пропил, что ли?

– Все пропью, гармонь оставлю! Сперли, – просто и весело сказал Николай, и оттого что почти дома и оттого, что рядом лежит недопитая бутылка.

– Ну, расскажи, что было. Как тебя туда занесло? А то говорят, уехал на конкурс со своей гармоней, и все.

– Сейчас. Надо вспомнить все по порядку, а то без разгону все в голове перепуталось.

Низкое ноябрьское солнце грело лицо и бок, дорога поднималась в горку, изумрудную от зеленей, небо будто выросло, становилось выше, а по краю поля, в лиловых тенях, оставшихся от вспашки смерзшихся глудок, пушился оставленный морозной ночью иней. За полем поднимался далекий стылый простор.

Вдыхая в свежем морозном воздухе знакомые запахи конского пота и сена, по которым успел соскучиться за три неполных дня, Николай привстал на коленях, чтобы удобнее было представлять в лицах, расправил грудь и начал вспоминать...

– Недели с две назад, после смотра, меня в район вызвали к Раисе Иванне в отдел культуры. Она мне говорит:

– На фестиваль народного творчества как наш районный лауреат поедешь?

– А чего ж, – говорю, – не поехать? Туда как – на поезде ехать?

– Да, только у нас сейчас на это финансовые средства не выделены, придется за свой счет, а потом мы тебе компенсируем.

– Ну, – говорю, – буду думать.

– Думай – не думай, а мы тебе доверяем, – говорит, – наш район и область представлять на этом фестивале. Мы бы хор туда послали, но это сложнее – целый народный коллектив, а ты и один не хуже выступишь, ты у нас замечательный народный самородок. Так что давай пять и крути педали. Вот тебе адресок на бумажке, вот тебе Светлана Григорьевна на ней записана, кто там всем руководит, вот тебе программа фестиваля.

Еду домой, а сам думаю: самородок-то самородок, а на какие шиши я покачу на эти «Алло, мы ваши таланты на корню видали»? А с другой стороны и правда, если хор туда запустить, это ж никаких средств не хватит, они ж проезят сколько! Думал я, думал дорогой и решил, что кабанчика все равно резать да продавать – не миновать. Уж какие я потом с Шуркой своей речи говорил – это отдельный разговор. В общем, финансовую сторону я решил, кабанчика продал, а вот насчет организационной похуже стало. У них в программе фестиваль три дня, с двадцать третьего по двадцать пятое. Они двадцать третьего съезжаются, у них там просмотр, а сам фестиваль двадцать четвертого. А у меня поезд через день ходит, и мне то ли раньше за день приезжать, да еще лишний день сидеть с этой их программой, то ли приезжать в самый фестивальный день. И у меня получается уже не три дня, а вся неделя. А на такое время меня Шурка не отпустит сто процентов. И решил я ехать так, чтобы попасть прямо на фестиваль, – чего на меня смотреть, на концерте и посмотрят и послушают. Вот я приезжаю,

нахожу этот дворец культуры. Кругом народ ряженный крутится с балалайками и гармониями. О, думаю, это наш народ.

– Где тут у вас Светлана Григорьевна такая?

– Знаем, говорят.

Нашел я эту Светлану Григорьевну. Ага.

– Здравствуйте, – говорю, довольный, что нашел. – Я, – говорю, – вот он, приехал. А она так глянула на меня.

– Прие-е-ехал, – говорит, – здра-а-асьте.

Знаешь, кум, так она это сказала, меня как мордой об пенек.

– Где, – говорит, – ты был, заезд участников и просмотр были вчера.

Я ей:

– Чего на меня смотреть, вот он я, а вот моя гармония.

Она глаза сузила:

– Мы вчера программу уже сверстали, вас не было, а концерт уже начинается. Мы не знаем, куда вас включать, в какую номинацию.

– Да включите, говорю, куда-нибудь, мне без разницы все эти ваши номинации.

Она уже листками зашуршала, а потом глянула на меня:

– А твой костюм где?

– Как, – говорю, – где, ядрена мать. На мне!

– Нет, это не костюм, – говорит, – костюм должен быть народный, вот такой, – и тычет пальцем: там народ вокруг толкается, мужики в рубахах расписных, у баб подолы цветами в тарелку шириной расшиты да узорами.

– Да какие же это народные костюмы, – говорю, – так народ сроду не ходил.

Я-то знаю, какие, у баушки моей в сундуке костюм лежит, она его и на праздник, и на свадьбы надевала. Шурочка моя как-то нарядилась в него, я упросил, так веришь – сам ее не узнал. По избе прошлась – чистая пава, лицо у ней стало доброе, она вроде и ругаться сроду не ругалась на меня. Я потом две ночи не спал, как ее такую увидел.

Вдали засинелась березовая роща, за ней, за ложком, еще один поворот, и – вот она деревня, вот и дом... В носу у Николая защипало, он зашуршал сеном, отыскивая четушку.

– Слышь, кум Сергей. Я еще дербалызну?

Кум кашлянул, вздохнув, пожал плечами:

– Смотри сам...

Николай глотнул из горлышка, пожевал хлеба:

– Не горюй, кум! Вечером, как приедешь из района, приходи на поляну, я в долгу не останусь.

На душе у Николая потеплело, ноги совсем согрелись, голова вслед за полями закружилась.

– Чего я говорил-то?

– Чего-чего, не спал две ночи.

– Две ночи. – Николай потер лоб. – Это когда?

Сергей сказал с досадой:

– Да когда сарафан твоя Шурка надевала!

– А-а! – обрадовался Николай. Помолчал, задумчиво улыбаясь. – Это я чего не спал-то: про Шурку думал. Стих ей сочинял.

– Во! Стих он сочинял! Пушкин, ядреньть!

– Да-а. Хочешь – послушай, а не хочешь – заткни уши.

Николай опять привстал на колени, стал читать, боясь пропустить:

Приезжал на выходной

Я в село родное.
Гулял тропкою одной
С будущей женою.

– Это я когда в училище учился, на выходной приезжал, – пояснил Николай.

Как играла в жилах кровь,
И хотелось близости.
Настоящая любовь —
Безо всякой низости.
Мы гуляли ночью темной,
Мы влюблились под луной.
Одной ночью хмельной
Стали мужем и женой.
Мы женаты много лет,
У нас сын и дочка.
Знать, оставила свой след
Та хмельная ночка.
Я, бывало, много пил,
Барахлило сердце,
Домой пьяным приходил,
Жена злее перца.
Обниму да расцелую
Губы, шею, плечи,
Все равно люблю, родную,
Как в тот первый вечер.

– Эх! Еще глоток отопью!

Кум Сергей беспокойно завозился:

– Ты дальше будешь рассказывать – нет?

– Эх, кум! Хорошо же как завспоминалось, когда по порядку! Теперь дальше. Вижу, эта Светлана Григорьевна прямо разговаривать уже не хочет, разворачивается и уходит.

– Нет, – говорит, – костюма – и все, разговор окончен, у меня без вас дел по горло. У нас концерт сейчас начнется, люди пришли, у нас программа... и опять свое.

А я не отстаю, за ней.

– Люди-то, – говорю, – по одежке встречать будут, а провожать по игре. Вы, может, послушаете меня, ядрена мать, наконец!

Она:

– Хватит вам шуметь, и тут не смейте играть, выступающим мешаете. А то я сейчас милицию вызову.

«Вот это ядрена палка выходит, – себе думаю. – Приехал выступать – семь верст киселя хлебать, поросенка прокатал – и зря?» Знаешь, в голове зашумело, сам за себя боюсь, как бы я здесь дров не наломал, гармонь скорее под мышку, зубами скриплю и из этого очага культуры бегом. Вышел, сзади этого дэка деревья, я по дорожке через эти деревья иду, самого ком в горле душит.

– Ах вы, паразиты, – говорю. – Я ж на праздник к вам по приглашенью, я, может, сроду бедным родственником никуда не являлся, а людям и себе праздник хотел устроить, а вы...

И так мне досадно сделалось. Я деревья эти прошел, выхожу к реке, там набережная с асвальтом. Сел я на лавку, а уж дело к вечеру, надо, думаю, душу как-то успокоить. Достал

гармонию свою и стал играть. Как акын, – у казахов, знаешь, кум есть такие, – что видит, про то и поет. Так и я, как тот акын. Вижу – река, такая серо-голубая, на морозце парит, лед по ней идет в два пальца толщиной. Вижу берег дальний, седой такой, в дымке, с огоньками. А между льдинами осторожно так, бережно, пароход идет, ма-а-ленький такой. Видно, что на том берегу остаться боится, и боится, что его льдинами затрет. А от воды пар стоит. Вот я и заиграл сначала что-то в этом роде, а потом «Ягодку» запел:

Ох и разродилась сильна ягодка во сыром бору,
Ой и заблудилась красная девчоночка во темном она лесу.
Вот и выходила красная девчоночка ко быстрой она реке,
Ой, да вот она и закричала своим тонким голоском...

И так она у меня, песня эта наружу полезла, я уж и сам не знаю, каким таким макарон, а только вижу я, как она, девчоночка эта красная, прибилудилась к речке, да как на берег вышла. Стоит босая, волосенки у ней тернами колючими растрепались, ручки она свои исцарапанные ко рту приложила и кричит-плачет, зовет кого-то. Бабка моя эту песню всю пела, она протяжная, долгая, я слова все и не помню. А, может, вспомню. Ее ведь надо с разгону петь, слова друг за дружку цепляются, сами собой вспоминаются, главное, чтобы без остановки да никто не перебивал. А кому там перебивать – один сижу, пою, как птица вольная, да в голос! Так-то, думаю, и птица поет, как ее птичья душа подскажет. Пою, у самого слезы стоят, а горлу ничего уж и не мешает, мне ж не себя жаль, а эту девчоночку, что заблудилась, и от этого в душе такая истома, как после стакана.

Я допел, и гармонь моя замолчала. Вдруг слышу, сзади голос женский выдохнул:
– Господи, хорошо-то как!

Оборачиваюсь, стоят две машины. Не наши, иностранные. Двери в них отворены, а рядом с одной стоит мужик молодой, а чуть перед ним девка. Красивая, росточку небольшого, простоволосая. Руки к груди прижала, а глаза блестят. Мужичок этот ее под локоток держит, а в машинах еще народ сидит, и все выглядывают.

– Господи! – говорит эта девка у машины. – Счастье-то какое! Владимир Иваныч, – обращается к своему, – давайте его пригласим.

И ко мне подходит. Вижу, девка по глазам простая, добрая, хоть и одежда на ней, как на картинке иностранной.

– Вы, – говорит, – не могли бы с нами поехать, нам поиграть?

А сама то на меня посмотрит, то на этого Владимира Иваныча, и глаза блестят. Тот кивает: ладно, мол, Лена.

Это он ее Леной назвал.

– Куда это вы меня зовете? Мне еще домой ехать.

Лена видит, что я не против, – радешенька.

– Да мы вас отвезем.

– Нет, – говорю, – мне на поезд, а билета у меня еще нет.

Вижу, и Владимир Иваныч рад, приглашает меня:

– Все сейчас сделаем, только поедемте с нами. Вам куда на поезд билет нужен?

Я говорю: мне туда-то. Пока эта Лена меня в машину сажала, он уже позвонил кому-то, говорит:

– Ваш поезд через пять часов, билеты привезут.

А в машине полон девчат молодых сидит:

– Здравсьте. – Все так культурно со мной здороваются.

Эта Лена моя вперед села с Владимиром Иванычем, поехали.

– Куда хоть вы меня везете? Если у кого день рождения, так я без подарка.

Лена смеется, на Владимира Иваныча смотрит:

– Вы сам нам подарок, а едем мы в ресторан праздновать юбилей нашей фирмы, а Владимир Иваныч – наш шеф, и все мы его любим.

Девчата тоже улыбаются, кивают: точно, мол, любим его. Я среди них освоился, пиджак свой трогаю:

– А туда в моем костюме можно?

Лена смеется: «можно, можно»... Мы тут же и приехали, там рядом оказалось, прямо на набережной. Ресторан такой круглый. Заходим, из другой машины еще народ выходит, один Гена, и девчата тоже. Все молодые, Лена меня под ручку – и в ресторан. У них зал отдельный. Я разделся, сумку свою сдал в гардероб, а гармонию с собой. Вроде как неловко в моей одеже.

– Как, – говорю Лене, – я-то – ничего?

– Ничего, – говорит, – не волнуйтесь, мы зал сняли, у нас все свои будут.

Сели, музыка тихо играет. Там столики маленькие стояли, девчата с Геной их вместе сдвигать, чтоб всем сидеть, хозяйка вышла ругаться на них, а Владимир Иваныч ей:

– Ничего, сегодня наш день, давайте накрывайте, чего у вас там есть.

Хозяйка губки надула:

– У нас все есть.

– Вот, – он говорит, – и несите все.

Вижу, малый он хороший, простой тоже. А там музыка – представляешь, караокой называется. Это значит, музыку включаешь, какую хочешь, а на экране слова – и ты поешь. Владимир Иваныч хозяйке говорит:

– Вы там пока выключите эту шарманку.

А на стол уже закуски всякую несут, бутылки, коньяк армянский вот такие толстые бутылки. Мне наливают тоже. Лена рядом сидит. Владимир Иваныч говорит:

– Мы, друзья, собрались отметить десять лет нашей фирмы. – Тост у него был такой.

Девчатам вина налили, а я себе минеральной. Лена говорит:

– Коньячку выпейте, что вы?

– Да я, – говорю, – вроде не пью.

– Нет, обидите.

Ну, ладно, чего я – зря ноги топтал? Выпил одну, вторую, по половинке. Лена рядом сидит, все на меня смотрит, грустная, и вижу – ей все не терпится, спрашивает:

– Вы когда будете играть?

А я после второй уже освоился:

– Ты чего грустная такая?

– Да больно мне, – говорит, – песня ваша понравилась. У меня и бабушка, и мама пели хорошо.

– Сейчас, – говорю, – чуточку подожди, народ разогреется.

А они тосты поднимают, я пока сижу, по своей половинке пью. Владимир Иваныч говорит:

– А сейчас нам подарок для души будет: давай-ка, Николай.

Я гармонию взял... Чем же вас, думаю, взять-то как следует? И заиграл потихонечку так, издали... То они шумные были, суетные, а тут вижу, притихли, на меня смотрят. Я им музыкой тихой сначала на глаза думки подпустил, а как увел я этой думкой их глаза в сторонку, вот тут-то я и запел:

Эх, не для меня придет весна,
Не для меня Дон разольется...

Да-а... В общем, спел я им, они в ладоши хлопают, говорят: «Да-а-а»... А Владимир Иванов обнял меня, держит и только и говорит:

– Коля, Коля, да ты ж сам не знаешь, какой ты Коля... – А сам глаза отворачивает да бутылку рукой цоп – и к моей рюмке.

А я ему:

– Лей, Володя, пополний, да себя не забудь, да дай только мне вам всем слово сказать.

Чую, пошел у меня кураж. Он рюмку свою поднимает, не садится, да на меня во все глаза смотрит.

– Эх, – говорю, – без песни, да без земли нам все одно не жить. Давайте за них и выпьем.

Ну, тут зашумели, Володя мне и говорит:

– Ну, вот и молодец, а то мы испугались, что ты непьющий.

– Да я, – говорю, – и не пил, и бросал, и совсем завязывал, да жизнь меня силком пить заставляла.

– Это как? – Смеется.

– Да вот как. В прошлом году всю зиму я, считай, один сто двадцать семь голов скотины кормил. Я и скотником работал, и трактористом, и грузчиком. К скирду на тракторе подъеду, накидаю на тележку, подвезу, разгрузу, по кормушкам раскидаю, да все сам, один. Сменщика-то у меня нет. И вот так три раза в день: утром, днем и вечером, считайте сами. – Тут я пальцы себе загибаю: – Половина октября, весь ноябрь, декабрь... до самого апреля – и все сам вожу, один. Ходил я к директору, просил мне дать сменщика, хоть на пару дней, отдохнуть – не дает.

– Дотяни до мая, – говорит, – мне тебя заменить некем, одни старые – не поднимаются, другие пьяные – не просыхают.

А у скотины-то выходных дней нету, она каждый день есть просит. А денег два года-третий у нас в совхозе не плотят. К лету, говорят, будет. И так которое уж лето. Привыкли без денег жить на всем своем. Доработался я за зиму так, что поджилки трясутся. Ночью – какое там до жене, до койки бы дойти! Шурка моя мне говорит:

– Что ж ты истратился весь, скажи директору, что уже не можешь.

– Да я, – говорю, – ходил, сказал ему, да он, видно языка не понимает, что же мне – по голове его долбить?

К апрелю от меня уж половина осталась, а мочи совсем никакой. Пришел вечером домой да думаю – ну и хрен с тобой! Взял да напился так, чтоб утром не встать. В запой ушел. Неделю пил. Тут ведь, Володя, и не хочешь, так запьешь. Правда, Шурке своей я перед этим сказал:

– Знаешь, Шур, отказать я им не могу, я лучше в запой уйду.

Она меня поддержала, только говорит:

– А ты симулировать не сможешь, что в запое?

– Нет, – говорю, – надо ж, чтоб от меня перегаром несло, да и пьяного я не смогу представлять, проще напиться. Так что потерпи.

Она говорит:

– Ладно, чего уж, недельку потерплю одна-то по хозяйству, только смотри не больше.

Через неделю я отлежался, отъелся потом. А сменщика нашли, куда ж они денутся!

Вижу, после этого все потом ко мне расположились, меня слушают, а Володя этот, Владимир Иванов, и говорит:

– Мы ж тут, Николай, все через одного деревенские. Елена из-под Рязани, а сам я смоленский, тоже в деревне рос, но тягу имел больше к точным наукам, через них я в город и попал. Жалею, правда, что народ тут больно мелкий, выпить толком никто не может, коленки у них слабые. А мы давай за деревню нашу выпьем да споем.

Тут и пошло самое главное. Чего мы только ни пели: и «Ой, мороз», и все, главное, пели. И «По Дону гуляет». Вот ее-то мы дали, аж стекла в окошках звенели. На голоса даже разло-

жили. Лена рядом сидит, то смотрит на меня, то головку положит мне на плечо, когда протяжные пели. А тут кто-то эту караоке завел. Владимир Иванович кричит:

– У вас на ней есть песня: «На тот большак, на перекресток»?

Те поискали – нет, говорят.

– А у нас, говорит, есть! Глуши эту свою механическую маслобойку, у нас тут живая музыка есть, давай, – говорит, – Коля.

А как спели «Белым снегом», у Лены слезы стоят.

– Мамина, – говорит, – песня. Только как уехала я из деревни – и сто лет ее не проводывала.

Эх, я потом как развернул гармонь да матаню врезал, девки все плясать пошли, да ловко так, а Владимир Иванович с ними, да хозяйке кричит:

– Больше чтоб я твоей караоки не слышал, хачикам её включай, а сегодня нашу музыку слушать будем.

А бутылки все несут да несут, черт их, эти коньяки, дорогие! Я уж чувствую, до точки дохожу, только через гармонь и держусь. стакан хлопну, Володя со мной, да за гармонь берусь. Я из нее душу вытряхиваю, а она из меня весь коньяк выпаривает. А Лена все рядом.

– Что ж ты, – говорю, – Лена, так ко мне привязалась, мало ребят помоложе?

А она:

– Сколько ж вы, – говорит, – радости живой приносите. Передо мной все мое детство, как на ладошке, я через ваши песни все вспомнила, что здесь, в городе, затерлось и некогда вспоминать. Вспомнила даже, как сеном пахнет и коровой.

Я вроде как обиделся:

– Извини, – говорю, – что я, может, и не по моде одет, и скотиной от меня пахнет, а если меня помодней одеть, так я и в городе в люди сгожусь.

– Да что вы, – говорит, – у вас вид очень добрый, хоть и, правда, простой. Вы можете любого городского обойти, вы ж нестарый. Но только я вам секрет один скажу: в городе, конечно, все равно по одежке встречают. Мы когда в офисе сидим и приходит клиент, главное, на что мы внимание обращаем, так это на его обувь. Так вот одежда, – говорит, – может быть даже немодная, только чтоб чистая, а вот ботинки чтоб самые дорогие были, с модными тупыми носками.

И сама смотрит на мои ботинки. Им уж лет пятнадцать, потрескались, обмахрились. Меня чуть заело, но вижу, она по-доброму со мной. Значит, и правда, чего лезть со свиным-то рылом да в калашный ряд, – это я уже про ту Светлану Григорьевну, про фестивальную, вспомнил, куда я так и не попал: неужели она меня по ботинкам встретила? И такая вдруг мне Лена эта простая да хорошая показалась: лицо круглое, руки полные, ну все при всем. Я даже представил, как она стоит на лугу с хворостинкой в белом платке, гусей отгоняет...

Черт-те что мне тогда показалось. Ты знаешь, кум, я ее даже целовать взялся. Точно... Махнул стакан и стал ее целовать. Все у меня в голове захороводило... У меня ведь тогда в нее точно засело, что будто Лена эта – моя жена. Вторая. И что мне положено две жены иметь. Одна, как моя Шурочка, а вторая – эта Лена, и чтоб на нее только смотреть, какая она красивая. Чего-то такое я ей и говорил. Потом с Володей сильно по душам говорили, да за жизнь деревенскую, я их всех в деревню приглашал. Он чего-то все про баню спрашивал, есть ли у меня баня, а я говорю, на какие шиши ее строить, да все адресами менялись, он все говорил: ты мне, если что – звони. А откуда я звонить ему буду, если у нас в деревне и телефона то нет... Потом хором пели, потом целовались, а у меня все в голове одно и то же крутится: вроде меня и без дорогих ботинок и так все любят, и я всех их люблю, но если на мне их сейчас же не будет, то не будет и такой жены-красавицы, и вся жизнь моя впереди – вся крахом. Во! Чего только спьяну да с радости ни подумаешь! Чего ж дальше было? Помню, мы куда-то ехали... Нет, еще не на вокзал, это потом. А! Я сначала куда-то пошел. Один. Какие-то витрины с обувкой... Да,

вот еще что: стою я у реки и пою: «Из-за острова на стрежень». Чего ж я ее пел... вот делато... Дай вспомню. А! У меня на плече на шнурках напереметную висели ботинки. Так... Ну, конечно! Подошел я к реке, размахнулся и кинул их, далеко они полетели, на самый лед, и поплыли на льдине. Вот потом я и запел: «И за борт ее бросает...» – И выкинул. Потом опять в ресторане все обнимались, потом на вокзале, а Владимир Иваныч проводнице все говорил:

– Вы знаете, какого человека повезете! Вы смотрите у меня, чтоб доставили в лучшем виде, я проконтролирую.

Да-а! Какие ж люди, а кум! Если бы не видел сам, сроду бы не подумал... Пстой-пстой... Ботинки-то я выбросил, но я ж не босиком был тогда. А в чем же?.. Ё-моё! На мне ж ботинки-то были! Я ж перед этим в магазине ботинки купил самые дорогие! На все деньги, какие были! Мне их еще продавщица помогала надевать...

Николай вскочил и крикнул: «Тпру!» Лошадь стала.

– Ты чего? – обернулся кум Сергей.

Николай, хлопая глазами, убежденно сказал:

– Так ведь то ж мои ботинки были. В поезде.

– Замахал ты меня своими ботинками, – сердито отвернулся кум. – Сидит, буровит... – и хлестнул лошадь. – Но!

Николай смотрел теперь куму в спину, твердя:

– Ту-ту мои ботиночки. Ох, и какие ж ботиночки, как в кино! А другие уплыли. На льдине по великой русской реке. – Николай задумчиво, протяжно пропел: «Вни-и-з по ма-а-а-тушке-е-е по Во-о-о-о-о...» Вот и накрылись мои денежки медным тазиком с маленькими ручками на то-о-оненьких заклепочках.

Николай прощуршал пальцами ног по сему, вынул их на свет божий. Отвинтил крышку с бутылки, выпил остатки и, взяв гармонь, громко и убежденно сказал:

– Ну и хрен с ними!

Потянул за меха, запел:

Эх, каким ты-ы был-ы таки-им осталы-си
Орел степно-ой, казак лихо-ой...

Николай сжал меха гармони, и вдруг тонко, как играет самая мелкая кнопка на гармони, запищало что-то, только с переливом. Кум Сергей обернулся:

– Чего это пищит?

Николай постучал по кнопкам, отстранил гармонь, писк по прежнему переливался откуда-то снизу. Он сунул руку в пальто и вынул оттуда маленькую телефонную трубку с кнопками.

– Вот это ни хрена себе!

Поглядев на нее, он нажал на первую попавшуюся кнопку, что побольше. Трубка изда-лека пропищала:

– Коля!.. Коля, ты чего молчишь? Коль, ты что – не слышишь, поднеси трубку поближе.

– Чего это она? – Кум Сергей вывернулся так, что казалось, свернет шею.

– Чего-чего, – запищала трубка, – к уху поднеси!

Николай поднес ладошку к уху:

– Да...

– Здорово, Коль! Значит так: завтра после обеда будь дома. Ближе к вечеру будет длин-номер со срубом. Понял?.. Ты чего молчишь?

– Не понял...

– Ну, чего ты не понял? Сруб для бани приедет в разобранном и пронумерованном виде. Начнешь собирать, а я к тебе денька через четыре подъеду, помогу. Мне сегодня в Прагу лететь, но к пятнице я буду у тебя. Топор на меня наточи. Песни попоем.

– Какая баня?

– Ё-моё, баня деревянная, а песни – народные.

Кум Сергей понял, что Николая заклинило, когда он тихо и бестолково спросил:

– А кто говорит?

– Кто-кто! Конь в дерматиновом пальто. Это я, твой по гроб жизни Володя!

И тут Николая расклинило:

– Владимир Иваныч!!! Володя! Да я... да ты ж знаешь!.. Я ж тебя, родной ты мой...

– Коля, побереги силы для встречи и для песен, – нарочно серьезно проворковала трубка.

– Ты обязательно приезжай! Я тут вас знаю, как встречу! Вы все приедете?

– Ну, насчет всех не знаю, а Елена к тебе рвется, запал, – говорит, – в душу. Ну, давай, пока, жди.

Николай, радостный, растерянный отвел трубку, глядел на нее. Не зная, как ее выключить, сказал:

– Куда жать-то?

На что трубка громко приказала:

– Жми, Колюха, на всю железку! Конец связи... – и коротко запищала пи... – пи... – пи...

Телега катила под горку, по дороге, разделяющей дружно и весело зеленеющие поля, и пикала и над полями, и над березами, и над показавшимся селом с дымящими трубами, словно первый спутник, предвещающий Николаю новую большую и радостную жизнь.

Партийное задание

Глухой апрельской ночью Николай Жихарев вернулся домой. Тихо поднялся на крыльцо, повесил в сенях куртку, тихо, чтобы не скрипнули половицы, прошел на кухню. Притворил дверь, не зажигая света, на ощупь поискал на печке чего поесть. Под старой фуфайкой нашел стоявший на плите чугунок и в ней теплые еще картошки. Все так же, в темноте, отрезал хлеба, очистил картошку и, макая ее в солонку, стал неторопливо жевать. Потянулся за молоком, чтобы запить, но не рассчитал, с полки на пол упала кружка.

– Вот черт! – шепотом ругнул себя Николай и стал шарить.

Скрипнула дверь, щелкнул выключатель, и свет плеснул в глаза.

– Ну и чего? Где был-то? – В дверях, щурясь от света, стояла Надежда, смотрела внимательно.

Николай молча дожевывал картошку.

– Время-то хоть знаешь сколько? А? – Голос у Надежды с грозного сменился на беспокойный; Николай был трезвый, это сбило ее с толку, и она замолчала, соображая, хорошо это или плохо – приходить домой в третьем часу трезвым. Но вид у Николая был усталый и какой-то странный, задумчивый.

Надежда нерешительно подошла к столу, села на табуретку.

– Работа, что ли, какая?

– Ну. В район ездили.

– Ой, «в район». Ночью, значит, работать.

Николай не понял подначки, поднял свои странные глаза.

– Говорю же – работать. С Перфиловым.

Перфилов был человек надежный, из сельсоветских, непьющий, парторг, и Надежда совсем успокоилась.

– А чего не сказал днем-то, что поедете? Забежал бы поесть чего? – Надежда засуетилась, взяла с плиты кастрюлю: – Щей поешь?

– Щей? – Николай подумал, отложил не почищенную картошку, кивнул. – Давай.

Надежда налила щей, поставила перед мужем. Николай нерешительно вертел ложку.

– Тебе чего – соли? Так она – вот.

– Надь, у тебя сто грамм не будет?

Надежда опять привстала из-за стола:

– Ну вот, начинается! А, может, тебе цыганочку еще сплясать? Чего ж тебе там не налили, где ты был?

Но Николай тихо сказал:

– Сядь, не ори... Мне, может, помянуть надо. Думаю – надо.

– Помянуть? Так ты где был-то?

– Партийное задание. Считай, на похоронах.

– Батюшки... Кого ж хоронили, с районного начальства, что ли?

Николай помешал ложкой щи:

– Бери выше.

– Из области, что ли, кто из наших мест?

– Выше, выше бери.

Надежда растерялась:

– Да уж куда выше-то?

Николай аккуратно положил ложку на край тарелки, отвернулся к окну, задумчиво и серьезно сказал:

– Ленина хоронили.

С минуту было тихо. Так тихо, что было слышно, как под потолком дребезжал электрический счетчик, а через закрытое окно, тихо, загадочно курлыкали на пруду тритоны. Надежда, долго молчавшая, с недоверием смотрела на мужа, наконец, растерянно сказала:

– Будет буровить-то. Какого Ленина?

Но Николай смотрел на жену спокойно и уверенно, совсем не улыбаясь.

– Владимира Ильича. Он же у нас один – Ленин.

– Уже к вечеру вызывают меня в сельсовет. К Перфилову. Подъезжаю, выхожу из машины. Он стоит на крыльце и говорит: погоди, садись в машину, там поговорим, чтобы не в сельсовете. Что, думаю за секреты такие. Садимся. Он говорит: поехали в район. Чего это, на ночь глядя, может, завтра с утра давайте поедем? А он такой серьезный, прямо какой-то одушевленный, что ли, говорит, как прямо диктор по телевизору: давай, трогай, по дороге расскажу. Поехали. Едем, он и говорит: тебе, говорит, как кандидату в партию поручается ответственное партийное задание. И дело крайне серьезное, чтобы без трепотни. У нас через неделю юбилей вождя. Знаешь? Ну а как же, говорю. Вот. А в районе, говорит, надумали новый памятник вождю поставить. Долговечный, прямо из бетона или даже из бронзы. У старого, говорит Перфилов, и даже голос понизил, почти шепотом, а сам даже оглядывается, – я, говорит, тебе как товарищу скажу, рука отваливается, а в голове сверху, тут он совсем шепотом заговорил, – дырка, отверстие образовалось по причине ветхости и там даже гнездо птицы свили. Его уж сколько раз замазывали да к каждому празднику все белили и белили, и его уже трудно распознать. Так что будем ставить новый памятник.

– А старый куда девать? – спрашиваю. – К школе, может, поставить или еще куда?

– Нет, он уже, как в акте написано, потерял конструктивные характеристики и портит эстетический вид.

– Что, неужели так и написали?

– Что?

– Что портит эстетический вид?

– Ой нет, – говорит Перфилов, а сам даже заволновался, не слышит ли его кто-нибудь еще. Да где? – Мы вдвоем в машине едем. – Это, говорит, было такое предложение комиссии по формулировке на партбюро райкома, только прошло ли оно или нет, не помню. Ох, она и помучилась, эта комиссия, пока составила акт на списание. Акт-то составили и стали его на бюро утверждать, порядок такой. Только зачитали слова: «акт на списание», кто-то первому секретарю и говорит: товарищ секретарь, как-то нехорошо – «списание-то». А? Это же старый трактор, тут все-таки, сами понимаете, Ленин – и вдруг списать! Кумекали-кумекали, и так, и сак. «Акт на демонтаж» кто-то из строителей предложил, тут опять этот сомневающийся к первому: «Минуточку! Демонтаж чего? А? Мы же говорим “Ленин”, подразумеваем – “партия” и наоборот». Первый подхватил: вы, говорит, додемонтируетесь, я вас сам демонтирую. Уж чего только ни предлагали! Было там еще предложение слово «ветхий» заменить на «старый», а как об этом писать, если он живет всех живых? И как вождь может «портить эстетический вид», если он вождь. Ведь он – о-ли-це-тво-ре-ние. Не может олицетворение иметь плохой вид и слабую устойчивость. В общем, заседали с перерывом чуть не сутки. Но самый главный вопрос был – куда его девать. Старый, то есть прежний.

– И что же придумали? – спрашиваю. Интересно ведь.

– Вот и вопрос-то. Придумали хоронить его.

– Как хоронить! – вырвалось у Надежды, молчавшей все время.

– Ты слушай. Приезжаем мы в район. Сначала на стройдвор заехали. Там ящик погрузили, пустой, с крышкой. Все ночью, чтобы никто не видел. Едем на площадь. А у памятника человек тридцать, все в шляпах, считай, все районное начальство собралось, и работяг четверо. Кран рядом стоит. Я машину свою подогнал. Стою. Перфилов к ним подошел. Я тоже хотел выйти, мне милиционер говорит: сидите, вам скажут, когда ехать и куда. Сижу, смотрю.

Плохо, но слышно. Они бумагу зачитали друг перед дружкой, тихо очень, я и не слышал, как они выкрутились с этим актом. Рабочий видит, они панихиду эту закончили, кувалду берет. На него как заорали, руками замахали и гнать его, а крановщику машут: давай. Тот стропы опустил, другой рабочий с лестницы петлю ему на шею накидывать, слышу, ему машут: ты что, мол, с ума сошел? Он им: а за что же цеплять, мы его иначе не зацепим? Слышу, кто-то из этих, в шляпах, мол, давайте не краном, а на руках его? Ну, его осадили, мол, вес с полтонны, а их, рабочих, всего четверо. Кое-как все же под мышки зачалили, и в ящик, что в кузове, сложили. Потом ноги следом. Лежит он. Рука только торчит, он же ею показывал. Мне говорят: поехали. Сами все сели в «волги» и следом. Я пока ехал, рука сама упала, ее рядом и положили.

– И куда же его отвезли, на кладбище?

– Я тоже думал, смотрю – нет. В какой-то старый карьер отвезли, там и бульдозер стоит, и уж могилка готова. Теперь уж краном ящик подцепили, крановщик его на землю ставить, а первый секретарь машет – давай, мол, сразу в яму. Как только опустили и бульдозер землю стал сдвигать, кто-то из бюро горсть земли хотел кинуть, но на него первый шикнул, отозвал в сторону и минуты три распекал. Так пальцем в него и тыкал.

– Так и закопали, и все?

– Да, бульдозер разровнял землю, как ничего не было, ни холмика, ни знака никакого. Вот так вот. – Николай вздохнул, поковырял засушинку на клеенке. – Надь.

– А?

– Вот ты и скажи: что это было – похороны, или как?

– Так-то выходит – похороны.

– Тогда по-каковски его похоронили? Значит, разбивать его нельзя, раз. – Николай загнул палец. – Ящик, как гроб, яма – та же могила, так? Тогда почему же нельзя горсть земли кинуть? И почему же помянуть нельзя? Чего-то это... как-то... ну, нельзя же так, а?

Надежда длинно вздохнула.

– Да не нашего это ума дело.

– Так-то так... Но, все же... я думаю... помянуть бы не мешало. Устал я чего-то, Надь. Налей стопку, а? Душа ведь не на месте.

Надежда опять вздохнула, махнула рукой, но вышла в сени, вернулась с бутылкой. Николай налил в стопку, придержал бутылку в руке:

– А ты не будешь?

– А чего мне, у меня душа за другое болит – картошку нынче не вынул, а загадывал.

– Загад не бывает богат, а партийное поручение выполнил. Ну, земля ему пусть будет... –

Он выпил, понюхал кулак, коротко, сдавленно сказал: – А картошку завтра выну.

Николай, наклонившись над тарелкой, молча хлебал, а Надежда, улыбаясь, смотрела на его всклокоченные волосы.

– Ох, отец, отец. Волосы-то седые, а все какая-то ерунда у тебя в голове.

– Какая ж ерунда? Пора уж думать. – Он доел, положил ложку.

– Об чем?

– Об чем? Да об том же. – Он стал совсем серьезным. – Пошли спать?

– Пошли.

Легли, но мысли не давали Николаю спать, Надежда тоже разгулялась, зевала, но сон никак не шел. Зашептали.

– Коль, чего не спишь?

– Уснешь тут, с этими похоронами.

– Ой, уймись, а?

– Да нет, я совсем про другое. Мы пока назад ехали, я все думал: вот людям памятники ставят. А зачем?

– Ну... не они же сами ставят, а им.

– Правильно. Только я чего думаю: если человек великий, даже заслуженный, что ли, то ему вообще памятник не нужен. А у нас почему-то все наоборот.

– Это как?

– А зачем ему памятник ставить, когда его все и так знают? Это если человек маленький, незаметный, тогда памятник точно нужно ставить. Получается, что боятся, что человека забудут, вот и ставят. Пушкину, Толстому разве памятники нужны? Ты как думаешь, их через сто и даже тыщу лет помнить будут?

– Пушкина? Ну а как же!

– Вот! И безо всяких там памятников. Толстой – он молодец. Он, наверное, вперед меня догадался.

– Ну, уж сравнил!

– А чего? У Толстого знаешь, какая могила?

– Ну... могила и могила. Чего ты.

– А могила такая – в лесу холмик, и все.

– И все?

– И все. Ни оградки, ни надписи – ничего. А весь мир знает – это Толстой. Ему хоть золотой памятник сгороди, он ему ничего не прибавит. А то по радио говорят: известный поэт такой-то, или – популярный певец такой-то. Это кому он известный? А посмотришь – человек за этим обязательно пустой окажется. Это они себя со страху, что их забудут, такими называют, и обязательно чтоб памятник им был – это они прямо во сне спят и видят.

– А ты-то... – Надежда зевнула. – Сам чего не спишь, а видишь?

– Я-то? Я – вот чего. Я, Надь, как помру, ты мне никаких памятников с ребятишками не ставьте.

– Батюшки, чего он надумал – помирать.

– Да не помирать, а... чтоб знала мою волю последнюю. У нас ведь на кладбище никаких статуй не ставят, и правильно, но и эти косые памятники – не дело. Ты мне, Надь, заешь что... Поставь крест простой.

– Вона – крест. А как же ты, Коля, когда ты кандидат в партию.

– А что «партия?» Мы же светлое будущее строим. Разве заповеди «не укради», «не убей» партия отменила?

– Эх, светлое. Лужу бы вон на улице засыпали, сколько себя помню, после дождя не проехать по улице, вдоль забора ходим, уж весь обтерли. Хлеб бы привозили почаще да посвежее, мне ведь и свеженького другой раз хочется. Ладно, спи... поставлю я тебе крест.

Николай успокоился и замолчал и, уже задремывая услышал, как Надежда вдруг дернула носом.

– Ты чего, Надь?

– Коль, ты мне тоже, ладно?

– Чего?

– Крест поставишь, если помру.

– А как же. Трехметровый, с резьбой. Денег на материал не пожалею. Самый большой дуб на материал переведу, кондовый.

Надежда шлепнула его:

– Вот чумной, оглашенный. Поговори с ним! С тобой прямо серьезно нельзя поговорить!

Оба засмеялись, переходя на шепот, чтобы не разбудить детей.

Анестезия

Зуб у Михаила разболелся страшно. Хоть на стенку лезь. Приехал с вахты домой, только-только дела на две свободные недели распланировал, а тут на тебе – зуб! Видно, пока из Москвы ехал, зря не пересел подальше от неплотно примыкавшей двери в автобусе, от которой шел морозный дух – даже снег залетал. И места-то свободные были, да жалко было уйти с переднего места; редко такое бывает, что первые места достаются. И он, боясь пропустить самое интересное, сидел впереди и внимательно глядел всю дорогу на бегущие навстречу, деревья, столбы, дорожные знаки, домишки придорожных деревень. Вот и насмотрелся – застудил, не иначе.

– От ведь костяшка чертова! – ныл Михаил и стучал по коленке кулаком с побелевшими пальцами.

Ночью было особенно невмоготу. Все один и тот же кошмар снился, будто весь мир в этот зуб превратился и он уже и не хозяин зуба, а хозяин вселенной, сидел у красной стратегической кнопки и думал: а не взорвать ли этот мир к едрене фене, чтоб с болью покончить разом. Аж пот пробил, когда во сне решал – нажать или еще чуть подождать, но задним числом и во сне думал: а как же люди-то? Их же тоже разнесет. И страдал от этого. Просыпался в холодном поту, осознавая, что весь болящий мир снова вмещался в один этот зуб и взрывать мир не надо. На секунду от этой мысли легчало. Но только на секунду. Потом ноющая боль, как магнитом, снова притягивала все мысли к этому единственному зубу.

– Ох, и мамочки же мои родные, – тихо приставывал Михаил и осторожно ощупывал языком больной зуб. Язык сам все время лез к больному зубу, как страдающий товарищ, без конца спрашивающий друга своего: ну как, не полегчало тебе? Но от этого напоминания становилось только хуже. – Вот же ж и зараза-то!

– Не легче? – спросонья спрашивала жена.

– Да не легче, не легче! – уже в голос и с раздражением говорил Михаил.

– Съездил бы в район. Не мучился бы.

– «Съездил, съездил»!

Ехать, действительно, надо. Только какой же зубной там ночью работает? Вчера, тоже после ночной боли, днем вроде как отлегло, да и дела закружили – не до зуба было. Он уж подумал – ну все, поноет – перестанет. А он – только еще хуже. Да ночью!

И он ходил, не зажигая света, по дому и сам на это злился: спят ведь, а он, хоть и с зубом мается, а свет не включает – их бережет. А они спят без задних ног. И уже от этого сам на себя злился, смотрел на улицу. За окошками ночь стояла ясная, молочно облитая лунным светом. Зеленоватым, каким бывает молоко в банке. Да что ему эти тихие ночные красоты! Опять подкатывало так, аж сердце заходило.

– У-ух!.. От ведь, болячка чертова!

Жена встала, зажгла свет, молча искала что-то на полке, и он, с надеждой на страдающем лице, глядел на нее, заспанную.

– Ты чего? – У него вышло из-за зуба: «Ты тево?»

– А! Все одно не сплю. Гляну, где-то шалфей был.

Она достала коробку, из нее – пакеты с травками.

– На вот шалфею. Чайник вскипяти, две ложки чайных в кружку всыпь и залей крутым кипятком. Постоит с полчаса, остынет – через марлечку процеди и пополоскай. Запомнил? Или мне самой?

– Да иди ложись, сам соображу. – Михаил опять отвлекся, вроде даже как полегчало – о нем же беспокоятся. Жена пока стояла, медленно, сонно моргала, раздумывая – идти лечь или самой заварить.

– Шур, а у нас водка есть? Может, его лучше на водке настоять и пополоскать?

Жена тут же перестала моргать – Михаил два года как бросил пить и водки в доме не водилось.

– Еще чего – водкой! Держался, держался – а тут начнешь «полоскать» – потом тебя не остановишь.

– Да ничего страшного. – Михаил, действительно, держался уже два года, как ездил на заработки. Но тут ведь для дела – утешал он себя. – Вроде как настойка получится. Поубивает там всякие бактерии.

– Какая настойка! Бактерии какие-то придумал. Спирт все полезное в шалфее поубивает.

– Ладно, иди, это я так. Заварю.

Жена ушла. Михаил что ни делал – ничего не помогало. Становилось только хуже: и от теплого, и от холодного, и от горячего.

– Чего ж ему, гаду, надо? – думал Михаил о собственном зубе, как о враге. И все лез пальцем в рот, осторожно трогая его, морщился и бормотал: – Шатаисса, гад.

То ложился – уже на диван, чтоб не мешать, то вставал, глядя в окошко – не светает ли? Измучился, ожидая рассвета как надежду на свое освобождение.

Утром, чуть свет, завел машину, поехал в район.

На остановке в Кирилловке стояла знакомая бабка. Михаил остановился, окликнул.

– Баб Мань! Ты в райцентр?

– В ево.

– Садись.

Бабка села, пригляделась:

– Постой, в потемках не разберу – кто ты. А! Мишка, что ль! – радостная, узнала его, и сразу стала рассказывать: – Вишь, автобус-то нынче не пошел. То ходит, то не ходит. Чего ему вздумается, то и делает. Хочет – поедет, а не захочет – не едет. А мне на сашу́, до остановки-то, два километра с моего конца идтить. Пока поросеньку дала да курям, да досуляла по снегу-то, а он, видать, уж и ушел. А может, и вовсе его не было. А я думаю: раз наладилась, то вертаться не с руки. Остановка на саше́ пустая, стою одна, усё гадаю – ай был он, ай его не было, ай поедет, ай не поедет. А ты – спаси, Христос – остановилси, не прохлестал мимо. А трое прохлестали. Дай бог тебе здоровычка.

Говорить было больно, Михаил лишь пробурчал, прижав руку к щеке:

– Да вот это не помешает, баб Мань.

Бабка повернула голову, глянула на его сморщенное лицо.

– Ай зуб у тебе?

Михаил кивнул.

– Дак ты у больницу! – обрадовалась бабка. – От как бабке подфартило-то. Не сам ты ехал, Мишка, Господь тебя послал. Мне тоже ж надо у больницу. Только туда, а обратно мне зять отвезёт. Я давеча была там с рукой – чевой-то тянеть ее, ночью аж гудить – места себе не найду. Она ж у мене была поломатая – корова, молодая-то, брухалась и мене наподдала. Теперича надо, сказывали, регент пройтить. А без полюса вовсе не примають. Вот бабка приехала – здрасьте вам, пробюю у больницы поклонилась не солоно хлебамши ды развернулася, ды назад подалася. Полюсы энти выправлять. Хорошо – дочка мене другим днем проводывала, она и выправила энтот полюс. У ней там скрозь все знакомые начальники. В два дня выправили. Зять заезжал, завез его мне – бумажка у-такусенькая, желтинькая да маненькая: поехали, говорить, доведу. А мне куды ехать? Как раз свинья поросилася. Слава богу, управилася, вот везу к им таперича полюс энтот.

Михаил напрягся. Похлопал по карману – паспорт с полисом у него остался дома. Они уже въезжали в райцентр, и назад ехать не было смысла – на прием записывают только с утра.

– А что – без полюса руку не лечат?

– Нет! Что ты! И разговаривать не стали – иди, говорят, выправляй полюс, тогда и регент будет, и руку лечить будем.

«Ну, это у бабки история другая – ей рентген нужен, обследование, а мне только вырвать – на три минуты делов», – успокоил он себя.

– Да-а... Зу-убы, – сочувствуя, протянула бабка. – Эта дела каждому знакомая. Не приведи господь! У мене – гляк-ся! – болеть нечему. – Бабка раскрыла пустой рот с розовыми деснами. – Усе первелися, подчистую. Уж года как чатыри. Ничего, поманеньку сухарики мочу, када хлеба не привозят. А прежде какие врачи были? Заболит зуб – и света белого не видишь. И кизяки мочили, прикладывали, и шалфеем полоскали. А дед мой покойный у войну-то, сказывал у его товарища так-то зуб разболелся, он спирту кружку налил и деду-то мому говорит: я ету кружку сейчас усажу, а ты молотком зуб тюкни – и все. Так ведь и выбил зуб, молотком-то. На что только люди ни идут с зубами-то. Когда болит – и не навоюешь и делов никаких не управишь. Страсть Господня – ети зубы. А я, грешница, другой раз думаю: был бы у мене хоть зубок один, усё б им чевой-то точила.

Подъехали к поликлинике – снег у входа был едва притоптан, и это обрадовало Михаила. У регистратуры, действительно, стоял лишь один человек. Стали с бабкой. Михаил разглядывал светлый коридор с плакатами между белыми дверями – во всём этом светло-больничном виделась ему надежда на освобождение от неотвязной боли и желанный покой. И он уже смотрел на двери, в которые он только что входил, и представлял, как совсем скоро, через какое-то время, он будет выходить – свободный и здоровый. Волновала только мысль о полисе.

«Ничего, – успокаивал себя Михаил. – Договоримся. Не люди, что ли».

Голос за окошком сначала долго объяснял бабке – что ей надо делать и куда идти – бабка была глуховата. Но вот бабка отошла, подошла и его очередь. Он заглянул в окошко. Там сидела девушка, вся какая-то беленькая: беленький халатик, беленькая шапочка, беленькие волосы. Даже оправка очков была тоненькой и беленькой.

– Следующий, – не глядя на Михаила, привычно сказала она.

– Дочка, мне только зуб глянуть. Так болит, что хоть...

– Фамилия.

– Савельев. Михаил. Иванович. Я с пятьдесят первого.

– Год рождения мне не нужен.

Девушка стала искать в ящичке на букву «С». «Не нужен – подумал Михаил. – Чего ж ей интересоваться. Старый. – И он вздохнул, просчитав свой возраст. – Конечно, был бы я помоложе, ты б тогда...»

– Боль острая?

– Еще как! Прямо...

– Давно были?

– Где?

– У зубного.

– О! Да уж, наверно... – Михаил стал вспоминать – да все равно не упомнишь. – Давненько. Сто лет не был.

Девушка перебирала карточки своими тонкими пальчиками с яркими, почти кровавыми, ногтями.

– Последний раз был, еще колхозы тогда были. – Михаил сунул голову в окошко. – У нас был «40 лет Октября». Его еще называли: «40 лет без урожая». Я еще тогда там агрономом...

Пальцы девушки приостановились, она перевела глаза выше дужки очков.

– Вы мне мешаєте.

Ноготки ее опять зашевелились. Михаил отодвинулся от окошка. «И как она их не сломает, – думал Михаил о ее длинных красных ноготках. – Ни копать ими, ни стряпать – махом ломаются». И ощутил неприятную боль, вспомнив, как ломаются ногти. Посмотрел на свои,

покрытые черепашими морщинами, руки и ногти – твердые, почти костяные, с темными ободками по краям.

Пальцы девушки опять приостановились.

– Та-ак. Савельев. С Тихого?

– Так точно, хутор Тихий.

Карточка легла на стол. Пальцы с ноготочками одной руки прошлись теперь по разграфленному листу, вторая держала ручку.

– На десять двадцать вас устроит? Врач Хомутов в четвертом кабинете.

«Слава богу, без полюса! – с облегчением подумал Михаил. И обрадовался – на часах было половина десятого. – Меньше часа потерпеть!»

– Конечно! А то я двое суток, как тот эквилибрист на стенке.

– Полис давайте.

– Чего?

– Полис ваш.

– А что – и полис надо? – Михаил почувствовал, как боль от зуба переместилась ниже, к груди.

Девушка сделала глазами: «ой, ну я не знаю...»

– Конечно. Вы что – первый раз, что ли?

– Да я-то... Я что – каждый день по больницам?

Девушка отвернулась, стала укладывать карточку обратно в ящик «С».

– Дочка. – Михаил снова сунул голову в окошко. – А может, без полиса? Он дома у меня, в паспорте.

Девушка занималась делами, перебирала карточки.

– А?

Она опять на секунду глянула на него.

«Глаза серые», – почему-то отметил Михаил.

– Я же вам сказала – нужен полис.

По его плечу постучали пальцем:

– Мужик, ну чего там? – Сзади уже стоял парень.

– Сейчас, сейчас. Дочка, у меня же зуб.

– А у меня чего – не зуб? – нетерпеливо поторопил парень.

Михаил сунулся было в окошко, но девушка уже предупредила его:

– Мужчина, я вам русским языком сказала – нужен полис!

– Да дома он! Я привезу. Потом. Пусть врач дернет – и все. Делов-то. Я потом привезу.

– Вот и ехайте за полисом!

– Да я ж с Тихого! Ехать тридцать шесть километров, а у меня зуб.

– Не, мужик, ты уже задолбал! – Парень держал в руках и паспорт, и карточку полиса.

– Зуб у меня, не видишь? – Михаил ткнул пальцем в распухшую щеку и отошел, растерянный. А парень немедленно сунул голову в окошко:

– Привет, Свет!

Девушка мило, кокетливо улыбалась. «Да-а... кому татары, а кому лядоры», – вспомнил Михаил дурацкую присказку. Но зуб напомнил о себе.

– Ну чего – пашешь? – спросил парень.

– Как видишь. – Улыбка девушки держалась.

«Как пашет, – подумал Михаил, – где?» Но тут вдруг сообразил, что за парнем уже выстроилась очередь – стояли еще трое. «Это ж если она им карточки даст, то сегодня уже не попадешь, а завтра у них выходной...»

– Погодите. – Он вдруг сообразил, в секунду прикинув время на поездку за полисом и обратно. И подпер плечом парня: – Извини, земляк. Девушка! Я сейчас за полисом смотаюсь. А вы мне талончик не оставите на час?

– Вообще-то, талоны мы даем по очереди.

– Да я ж уже стоял. Я могу бабку попросить, она постоит – она передо мной тут была.

– Ну... Ладно. Только на час уже занято. И позже – тоже. Есть только на полдвенадцатого.

– Ох ты! А чуть попозже?

– Нет. Все уже разобрано.

– А! Ладно! Оставьте на полдвенадцатого. Я за полисом съезжу. Отложите?

– Только если хоть на минуту опоздаете – я очереднику отдам.

– Все! Только отложите! Я быстро – туда-сюда! – И Михаил пулей вылетел из поликлиники. Домой летел, как угорелый, рассчитывая по минутам дорогу: как и где он может сократить, где лежит его паспорт с полисом, в какое время он должен выехать обратно. А боль вслед за беспокойными ударами сердца колола десну и отдавалась во всей голове.

– Ничего, потерплю. Потерплю. Потерплю, – в такт боли повторял Михаил.

Не заглушая двигатель, заскочил домой.

– Ты чего? Уже? – удивилась жена.

– Какое там «уже»! Паспорт мой скорее давай. Он в сумке, с какой в Москву еду. Да глянь – там полис или нет.

Жена пошла доставать, а он вдогонку говорил, трясая от боли головой.

– У них, видишь, порядки теперь новые – полисы им давай. Сто лет жили – и ничего не нужно было: есть карточка – и есть. У-ух, леший... Бегом, бегом, у меня времени нет, записали на полдвенадцатого. Ну что ты там – нашла?

– Нашла. – Жена вышла с паспортом. Михаил выхватил паспорт, раскрыл – полис был на месте. – Миш. Погоди.

– Чего годить? А?

– А у тебя ж полис-то московский.

– Ну да, на работе, когда оформляли, дали.

– Так он, может, у нас будет недействительный.

– Как это? Ты что? Это ж документ! Страна у нас что – не одна, что ли?

– Документ-то документ, но он, кажется, по месту жительства только. Будет тебе «страна».

– Да брось ты! Некогда мне разговаривать. Все. Время вышло. – И он выскочил. Жена с крыльца вдогонку кричала:

– Миш! У Елисеевых дочь приезжала из Москвы – так ее не приняли. Мне Вера говорила.

– А! Ладно тебе! Я ж с острой болью! – И с места дал «по газам».

Пока ехал, боль все стучала, будто изнутри долбила голову, но ему уже некогда было думать о ней – главное успеть. У въезда в райцентр гаишник махнул палкой.

– От ведь, как назло! – тормозил Михаил и уже доставал документы. – Еще прицепится за что-то. Земляк! – лишь открыв дверь, крикнул подходившему гаишнику. – Видишь – ремень на мне, не пью два года. Я в поликлинику, у меня на полдвенадцатого – зуб вырвать!

Гаишник подошел не спеша, чуть приподняв руку, пробурчал:

– Сержант Морев. Ваши документы.

Михаил сунул права.

– Та-а-к. А...

– Страховка – вот она! – предупредил Михаил. Гаишник рассматривал каждую бумажку, крутил ее и вслед за ней и голову.

– Зуб у меня, я в поликлинику...

Сержант сложил документы, чтобы отдать их, но заглянул в машину:

– А это что у вас? – И он показал на заднее стекло, на котором Михаил зачем-то прикрепил плакатик с портретом президента.

– Это? – Михаил обернулся. – А это президент. Наш.

Сержант замялся:

– А... Он вам обзору не мешает?

– Кто? Президент? Пока нет.

Сержант подумал, повертел головой, оглядывая салон, потом выпрямился, протянул документы и нехотя козырнул:

– Поосторожнее...

– Вас понял! Вот так-то, – уже весело сказал Михаил, глядя в зеркало на удалявшегося сержанта.

У поликлиники глянул на часы. Оставалось еще две минуты. «Успел! – Он влетел в поликлинику. У окошка, держась рукой за щеку, стояла тетка. – Хоть тут-то повезло». Кинулся перед очередью к окошку регистратуры.

– Дочка, вот полис. Еще две минуты.

Девушка глянула на часы, взяла приготовленный талончик, перевернула полис.

– Вам его где выдавали?

– Как где? На работе.

– А вы в Москве работаете?

– Да. У нас же, как совхоз разогнали, работы нет уже четыре года. Ездим вахтой – две недели стройка, две недели дома.

– Нет. – Девушка положила полис на стойку. – Полис действует только по месту жительства. – И протянула талончик тетке: – Идите в четвертый кабинет.

– Это где?

– Второй этаж направо.

Тетка пошла, и Михаил все смотрел ей вслед, пока она не повернула.

– Девушка?

– Да. Что вам неясно?

– У меня ж челюсть сейчас разорвется. Я для чего мотался туда-сюда? Чего ж тут вы понапридумывали с этими бумажками?

– Кто придумал – я? Вон инструкция о правилах приема в поликлинику на стенке. Почитайте.

– Да чего мне читать-то! Мне не читать надо, а... У меня – зуб! – зуб, действительно, так ныл – до слез.

Он понял: спорь, кричи тут, хоть оборись – все бесполезно. Жизнь так поменялась, что он за ней не уследил. Теперь, хоть болей, хоть помирай – никому дела нет до простого человека. Даже лезь ты сейчас на стенку – ничего не поможет. Есть даже инструкция. И он, стараясь быть спокойным, спросил в окошко:

– Девушка... Ну как же так? Ведь не может же быть, чтобы в больнице больному не могли помочь? А? Ну, ладно – инструкция, но ведь человеку-то как-то надо помочь? Вы ведь какую-то клятву даже давали.

Он говорил, а девушка спокойно смотрела на него, положив руки с ноготочками на тетрадку. «Она наверное, отличница была в школе, точно так же сидела и слушала неинтересный ей урок», – подумал Михаил.

– Мне же больно, – сказал он. Сил просто не было терпеть. – Вы ж сами говорили – острая боль.

– Можете не волноваться. У нас есть альтернатива. Для острой боли предусмотрены платные услуги.

– То есть как?

– С четырнадцати будет работать платный стоматолог.

– Да?

– Да. Могу вас к нему записать. На четырнадцать к Хомутову.

– Это как – лечить?

– Нет, только удалять.

– А если он еще целый, зуб-то? Его ж тогда можно вылечить.

– Ну... Решайте сами. В Москву приедете, там и вылечите. А у нас платные услуги только для удаления.

До Москвы, до начала очередной двухнедельной вахты, еще было целых одиннадцать дней!

– И сколько стоит?

Девушка спокойно назвала цену.

– Сколько?!!!

Все. Михаил решил. Дальше он действовал спокойно и по плану.

Он ехал и уверенно говорил кому-то:

– Чтоб я еще хоть раз в жизни еще с вами со всеми связался! Чтоб я еще раз в жизни родился на свет! Ничего-о-о. Вы еще Мишку не знаете. Вы его голыми руками не возьмете. Он еще поживет назло вам.

Он заехал в магазин на краю райцентра, взял там две бутылки водки. Хотел было закуску, но сморщился – вспомнил про зуб. Сел в машину, завел и уверенно сказал:

– Все, Миша. Терпеть тебе осталось полчаса.

Он остановил машину на краю хутора, у речки. Вышел, сел на бережок. Поставил одну бутылку:

– Это анестезия.

За ней вторую.

– А это обезболивающее.

Поближе – подфарник. Еще ближе – пассатижи. Откупорил первую бутылку, налил в подфарник до краев:

– А это дезинфекция. Вот такая вот народная медицина. – И опустил в подфарник с водкой пассатижи...

Спустя полчаса к дому медленно подъехала машина и стала непрерывно сигналить. Шура выбежала из дома:

– Миш! Ты чего?

Михаил сидел в машине:

– Шур! Димку... позови! Машину пусть... Загонит.

– А чего такое? Вылечил зуб-то?

Голова Михаила моталась в окошке машины.

– Сто процентов. Услуга бесплатная. Расход только на анестезию. Они думали... меня голыми руками взять. Я за эти же деньги – сам любую работу... Хоть штукатурить... хоть кирпичи класть... хоть косить... хоть копать...

– Господи! Ты чего это, Миш? – Шура увидела у него на подбородке запекшуюся полоску крови.

– ...хоть пилить. А хоть и зубы рвать! Во! – И он протянул жене плоскогубцы с зажатым в них зубом. – Эт тебе...

– Бо-о-же мой! – Шура только сообразила, что держит зуб.

– И это тебе. – На его ладони-грабарке лежал пузырек с ярко-красным лаком для ногтей. – Чтоб знали... Мы что – хуже их, что ли. Ничего, Шурочка. Все! С анестезией... и дезинфекцией я завязал. Железно!

Другой рукой, вывернутой куда-то назад, он показывал шиш:

– А это вот им... Вот им мой полюс.

Рождественское чтение

Дачники, все лето живущие в далекой степной деревне и называющие себя в шутку «однодворцами», для охраны своих деревенских домов нанимают обычно на зиму сторожей. В эту зиму однодворец с дальнего края деревни, Женька Вавилов, договорился с Серегой, молодым бессемейным мужиком из соседней деревни, пожить у него, охраняя заодно его нехитрое хозяйство от ежегодного разорения.

Зимой дорога в деревню засыпана снегом по пояс. Лишь изредка, один-два раза в неделю, протянется по ней санный след, – это мужик, единственный, имеющий лошадь, ездит в соседнюю деревню за хлебом или пенсией, привозя их сразу на всех деревенских. Тишина зимой наваливается на деревню страшная. Один только ветер, гудя в верхушках берез, стоящих у околицы, нарушает тишину заснеженных полей, заставляет стариков выходить на крыльца, вслушиваясь, не трактор ли едет, и по какой такой причине забрался он в эти безлюдные места. В безветрие не слышно ничего: ни голоса, ни собачьего лая. Зимой в деревне, кроме пяти постоянных жителей, нет никого: ни детей, ни молодежи, ни собак. Не доезжает сюда и автолавка. Сам Женька живет в городе и приезжает нечасто, и Серега-сторож с нетерпением ждет его приезда; приехав обычно к вечеру и заночевав в протопленной избе, хозяин обязательно «подносит» Сереге, да еще и оставляет, так что Серега всегда чуть навеселе.

Перед Рождеством в деревню кто-нибудь из дачников-однодворцев обязательно заглянет. Хотя бы на рождественскую ночь. Когда кто-то приезжает в деревню, зимой видно сразу. В ранних сумерках зажелтеют в домах оконца и высветлят перед ними заснеженные полянки. Проходит немного времени и, стукнув в дверь, заходит Серега, оставив обувь в сенях. Заходит, никогда ни при каких обстоятельствах и при любой температуре не снимая шапки. Вид его и речь подсказывают, что он уже «принял». Сидит, долго, для приличия, держа в одной руке поднесенный хозяином стакан, а в другой кусочек хлеба с салом. Главная тема рассказов его, как человека, подрядившегося охранять от воров дальний край деревни, что он не забывает и этот край деревни.

– А как же! Я обязательно... Я со своей Жулькой сюда прихожу. Ближе не подхожу – ни-ни! Чтобы это... следы чужие было видно. Мне все равно... Мне какая разница, куда ходить. Я и на ваш край загляну... Я чего – не видно тут следов?..

Говорит Серега двумя-тремя словами, делая между ними большие перерывы. Когда он начинает повторяться, хозяин показывает на стакан в Серегиней руке и нетерпеливо перебивает его вопросом:

– А Женька приезжал?

Сереге поднимает на него удивленные глаза, стараясь понять вопрос:

– Женька? Вчера приезжал... Переночевал и уехал. У него дела свои. А я сейчас гляжу – у вас свет горит. Ага! А может – это... Может, кто чужой зашел? Дай, думаю, проверю, схожу... Я прально говорю?

– Ты давай, давай, выпей, – говорит ему хозяин и отодвигает табуретку подальше от стола, поближе к двери, присаживает сторожа за плечо. Оборачиваясь, глядит в печной закуток, где жена, вместе с приехавшими подругами до прихода гостя шумно и весело нарезавшая и раскладывая на тарелки привезенные продукты, внезапно умолкнув, делает ему знаки рукой. Показывает через занавеску на Серегу и машет в сторону улицы. Сидящий за столом товарищ хозяина, осторожно отодвигая ногой под лавку откупоренную бутылку, с интересом разглядывает Серегу и тоже, одобряюще поднимая голову, торопит:

– Ты выпей, выпей...

Сереге, неловко присев на край табуретки, резко наклоняет голову и смотрит сверху в стакан.

– Ага... – говорит он и, подумав, уже подносит стакан ко рту, раскрытому на ширину стакана, но останавливается и поднимает голову. – Я ведь их всех... Всех записываю, кто проезжает... или кто проходит через деревню. Давеча идут двое. Со стороны Знаменки. Как, говорят, на Озерки пройти? Я им дорогу не эту показываю. Я им верхнюю, за деревней. Вы, говорю, вон там вон... идите, там как раз и дорога. Кто знает, кто они такие, правильно?

Он глядит на хозяина, глазами «наводит резкость».

– Ты пей давай да закусывай, закусывай.

Сергея делает два глотка, больше не может. Опускает стакан и медленно откусывает кусочек хлеба.

– Давай-давай, Серега, – торопит хозяин.

– Не... я по... по чуть-чуть.

– Не мерзнешь, Серега? Уголь у Женьки кончился?

– А-а, – машет рукой Серега. – У него угля нету. Дровами. А растапливает книжками.

– Как книжками?

– О-о! У него этих книжек полон. Он какую-то библиотеку... партийную перевез с города.

– И что ж он, ими топит?

– Да нет. Топить-то не топит, а так – растапливает. Это чтоб по такой зиме холодной натопить! О! Это никакой библиотеки конгресса сэ-шэ-а не хватит.

– А ты что, сторожить взялся – другой работы никакой нет?

Сергея отрицательно машет головой.

– Нету.

Хозяин подвигает другую табуретку ближе к Сереге, садится.

– А как же живете?

– Да как... была работа – нам все равно за нее четыре года не платили, только когда кто умрет. Тыщу давали на похороны. Да и то не всегда. А потом и работа вся кончилась. Все на центральную усадьбу перевели.

– А как же народ живет, чем?

– Да ничего... Живут, коров держут, картошку сажают. Голодные не сидят. Ну, правда, у кого одна корова, у кого – две, не больше. А Джамал, так у того двести овец.

– Джамал? Это кто же?

Сергея машет рукой:

– А-а... У него ни флага, ни родины. Джамал и Джамал. Взялся у нас в деревне. В одной рубашке и штанах, чуть не босиком. А через год смотрим – у него и дом, и две сотни овец, и ребятишек полон...

– А машина?

– А как же, и машина тоже.

– А другие в деревне без машин?

Сергея кивает.

– Машин нет, одни трактора только. – Он вспоминает. – У одного нашего мужика жена рожает, он побежал к Джамалу: отвези в район. А тот говорит – нет.

– И что же, так и не повез?

– Ни в какую. Этот мужик, Ленька, побежал к себе. Трактор «ка-семсот» заводит и этим «ка-семсотым» его и переехал.

– Кого? Джамала?

– Да жигуля! Прямо пополам.

– И что? Он в милицию?

Сергея сначала утвердительно кивает, а потом машет рукой:

– А-а... толку-то никакого. Все равно ему убежать пришлось.

– Кому? Леньке этому?

– Да нет, Джамалу.

– Как это?

– А наши мужики все собрались, пришли к нему и это... дали ему двадцать четыре часа. Джамал на другой день вон в Заречье съехал.

– Что, прямо с овцами?

– Ага.

Зима холодная, на улице мороз. Серега, отставив стакан, сидит, потирая красные, шершавые, как древесная кора, руки с синеющими на них наколками. Из закута выглядывает жена хозяина, мельком глянув на гостя, недовольно зовет:

– Ви-итя...

Хозяин кивает ей:

– Все, сейчас. – И смотрит на руки сторожа. – Серег, а ты сидел?

Серега поднимает голову, чуть смущенно говорит.

– Не... Я один... один изо всей деревни не сидел.

– А остальные что ж, все сидели?

Он чуть улыбается, кивает до груди головой. Шапка падает на колени, он снова натягивает ее на голову.

– Ну. Все за убийство. У нас считают, кто не сидел – тот и не мужик.

Серега встает, стараясь не качаться, поправляет шапку. Хозяин тоже встает.

– Что, Серега, пошел?

– Ага.

– Допей.

– Не-не, мне хватит на сегодня. Пойду, дровишек чуть подложу. Деревню еще обойти надо.

– Да не ходи сегодня-то. Домой иди. Праздник, да и мы все на месте.

– Ну и хорошо. Это... с праздником вас. С Рождеством.

В сенях, провожая Серегу до двери и ожидая, пока он с трудом, обеливая рукав о стенку, обувается, хозяин спрашивает:

– Как тут тебе, не скучно?

Серега наконец надел ботинок, распрямляется.

– Да я за этот месяц... Я уже целых две книжки прочитал. Про этого, которого, фельд-маршала... у нас в войну арестовали. Он книжку целую написал... как его...

– Паулюс?

Серега радостно:

– Ага, он самый.

– А другая?

– Другая? – Серега сначала серьезнеет, а потом, пожав плечами, улыбается. – Капитал. Маркса. Первый том.

– Ого!

– Да, а то я за всю жизнь... я двух книжек не прочитал... а тут думаю, Женька все равно их пожжет, а мне время-то... куда-то девать надо, я и давай читать. Я про этот «Капитал» столько слышал! Дай, думаю, хоть узнаю, про чего он там пишет? А то так и помру и не узнаю, как люди богатыми бывают.

Серега уже стоит на крыльце.

– Ну и что, понял что-нибудь, в «Капитале»?

– Да ни хрена я там ничего не понял. Слов много, а вместе их никак не соберу. Потому, наверно, мне богатым быть не дорога. Но дочитал всю честно, от корки до корки.

– А теперь за что возьмешься?

– За что? Я вот думаю, время девать некуда, я тогда уж второй том до конца февраля осилю. Может, чего и пойму. Ведь кто-то же понял, чего там написано. А я что, хуже других! Вот пойму, разбогатею... Придешь ты ко мне в гости, я тебя тоже угощу.

– Что, правда, нальешь?

– О! Да это обязательно, это само собой. Это я хоть сейчас – приходи, налью. Как без этого! Это само собой – поднести-то. Это – обижаешь! Я в смысле – поесть, закусить угощу.

– А у тебя что, и хлеба нет?

– Так что ж, картошка зато. Ну, пойдем?

– Сейчас? Да нет... Спасибо. Ты знаешь... – Хозяин берет за ручку двери. – Серега, постой тут, я сейчас.

Через минуту свет из двери снова плеснулся на снег. Хозяин выбежал на крыльцо с ярким пакетом в руках, подняв его, прокричал в темноту:

– Серега! Серега! Подожди! Хлеба хоть возьми! Серега, никуда не ходи, будь дома, мы к тебе скоро придем!

Братка

Весь вечер после разговора с женой Александр Михалыч Зубарев, или просто Саня, тихо светился и ходил по избе почти на цыпочках тихой пружинистой походкой, поддакивая жене и, боясь спугнуть близкую радость, разговаривал с ней утвердительной интонацией. Дело в том, что ему хотелось съездить в город, повидаться с братом Геннадием, но жена «просто так» сроду бы не отпустила его.

– Тут дел по дому невпроворот, а ты кататься поедешь. Мало ли, что давно не виделись. Летом в отпуск приедет, вот и повидаетесь.

Саня подумал: «Что, действительно так-то зря ездить!» – и сменил тактику:

– Да не кататься, а Лешку, может, куда устроить: в техникум или еще куда. Малый школу заканчивает.

Наталья заколебалась. Саня понял это и стал заходить с флангов.

– Да ты погляди, – говорил он жене. – Сейчас самая пора. – Он для убедительности загибал пальцы. – Снег не сошел, технику подготовили, с неделю до посевной время есть. А то потом другой поры съездить не будет.

– Так-то конечно, – раздумывала Наталья, глядя мужу рубашку. – Съездить бы надо, я бы сама поехала...

– А скотину куда девать? – в тон ей, стараясь «влестить», заговорил Санька. – Выгнать – ладно, корму задать, – это я сделаю, а вот доить...

Наталья нехотя махнула рукой:

– Ладно, поезжай. В техникум зайдешь. Спросишь: как там по приему, экзамены какие сдавать, или так? А то, может, Геннадий чем поможет. Может, у него в техникуме знакомые какие есть?

– Кто его знает! Может, и есть!.. – радостно говорил Санька, снимая со шкафа чемодан, вытирая с него рукавом пыль и шелкая замками.

Саня, несмотря на свои пятьдесят и метр шестьдесят пять был сух, жилист, легок на руку и скор на ногу. Смолоду из-за роста дразнили его «маломерком», от этого появилась в нем какая-то хорошая злость, желание все постичь и делать самому. Увидел у речки огромный плоский гольш, подумал: хорошо бы его вместо крыльца пригородить. Дня два ходил, соображал, потом встал с утра пораньше и приволок к дому. Никто и не видел, как. Но больше всего любил плотничать. Сколько материала за плотницкий век в руках его перебивало, а попадетса ему хорошая доска, погладит ее шершавой ладонью, скажет:

– Эх, дощечка! Ее бы лизнуть рубаночком только, как заиграет!

Была у него еще одна любимая присказка:

– Хорошую работу беречь надо.

Но это для ленивых, а Саня никогда ленивым не был. Все в деревне знали: если что сделать надо – Саня никому не откажет. Двери поправить, крышу ли, баню срубить – только попроси, – свои дела бросит, а помочь придет. И не ради заработка или выпивки. Для него первое дело – уважить. Ну а если и нальют после сделанной работы – он не откажется, но главное в этот момент – поговорить. Накатит сразу полный стакан, а потом сидит, размягченный, слушает добрые слова за его работу, тихо млеет, душу потихоньку разворачивает:

– Да ты, Ефимыч, – говорит он соседу-инвалиду, которому покрыл крышу своим же шифером, – только соберись с матерьялом, а я тебе летом и дом перекрою. Ну куда такая крыша? – отставив стакан, тыкал он в потолок с рыжими разводами по побелке. – Хляби небесные.

– Ты, Михалыч, – говорил, провожая его к калитке сосед, – насчет шифера-то своего... Может, погорячился? – прошупывал Саню с надеждой. – У меня ведь сейчас отдать нечем.

Сашка, качнувшись, останавливался у калитки, делал рукой останавливающий жест:
– Все, Ефимыч! Спокуха! Насчет шифера – все! Будет когда – отдашь. Главное: вишь! – Он оборачивался в сторону сарая, на котором ровно, аккуратно, новым светло-серым пятном лежал шифер. – Стоит крыша! А!?!.. То-то! А вот конек ты... – грозил он ему пальцем, – конек-то ты не припас. Там и надо то четыре штуки всего!

Ефимыч глядел на новую крышу, пожимая плечами:

– Был бы... что ж не закрыть-то.

Санька опирается на калитку, протягивает Ефимычу ладонь:

– Ну, Ефимыч, спасибо тебе за угощение.

– Мне-то что – тебе за работу спасибо!

Санька, качаясь, уходит по темной улице. Ефимыч накидывает на калитку крючок, ковыляет домой. Посреди двора его останавливает Сашкин голос:

– Слышь, Ефимыч! Не найдешь коньков – приходи ко мне, я дам.

И сразу за этими словами из темноты звучит, удаляясь, любимая Сашкина песня, которую он пел по-своему:

А я ее целовал, уходя на работу,
А себя, как всегда, целовать забывал,
Целова-ать за-абывал.

Наутро выпрашивал у жены на «поправку в честь праздничка».

– Это в честь какого? – спрашивала, вычисляя праздники, Наталья. Ответ у Саньки был неизменным:

– В честь трехсотлетия граненого стакана!

– Да иди ты!.. – шумела Наталья и шлепала его по спине полотенцем. После долгих прений, если Наталья не сдавалась и Саньке не удавалось «принять на грудь» дома, он шел к соседке, с вечера просившей спилить старый клен у ее дома, который огромной веткой придавил крышу кухни и грозился упасть на дом. Взобравшись, как кошка, на дерево, обрубал боковые ветки, «освежевывал» и оголял ствол. Делал все один. Принципиально. Зачаливал клен растяжками из веревок и рубил, всегда рассчитывая верно. Наконец, укладывал точно между кухней и проводами ахнувший об землю могучий ствол. Уставший и вспотевший, с парящей, как котелок, шапкой в руке, стоял, вдыхая горький запах спиленного клена и удивлялся тому, что в первые весенние дни сокогона, когда снег еще не сошел, а солнышко уже начинает ластиться, сок у клена сладкий и чуть не брызжет из пня, струясь темными ручейками по его корявому обрубку.

Утром, налегке, с одним чемоданом, он шел на станцию. Ночь сидел в трясущемся вагоне, не ложась. Постель, экономя деньги, брать не стал, и сердитая проводница, боясь, что он ляжет на матрас, забрала его вместе с подушкой и, протискиваясь между полок, угрюмо уволокла в служебное купе. Саньке все равно спать не хотелось, и он сначала думал о проводнице: «Вот странный народ, и чего сердиться-то, – все равно бы я ложиться на стал, столько всего интересного за окнами, – когда еще увижу?» – А потом, радуясь как ребенок, глядел в окно.

Так он и сидел всю ночь, упершись лбом в оконное стекло, закрыв его ладонями, чтобы не отсвечивало, и глядел на уснувшую чужую жизнь за темными окнами станционных построек, бисером рассыпанные по горизонту огоньки незнакомых деревень, мелькающие деревья, поля, огороды, и во всем этом виделись ему признаки неведомой жизни неизвестных ему людей.

– Ну надо же! – удивлялся он, в очередной раз видя шлагбаум, блестящую у будки стрелочника мокрую дорогу, которая пересекала пути и исчезала в темноте вместе с полосатыми столбиками, убегая, наверное, вон к тем далеким огонькам. – И везде ведь люди живут...

Потом он подумал о брате, несколько лет не гостившем в деревне, и на сердце стало сладко-радостно, что вот завтра он увидит его, и как тот обрадуется, и как они будут потом сидеть и разговаривать с ним, вспоминая давнее, детство, как потом... Потом Санька не заметил, как заснул.

Днем он уже был у дома брата.

«Только бы Генка был дома, – думал Санька, поднимаясь пешком на седьмой этаж. Лифта он побаивался, – а ну как он застрянет, сиди потом...»

Геннадий был дома:

– Братка! – радовался он, обнимая Саньку. – Лен, Павлуха! Посмотрите, кто к нам приехал!

Вышли жена с сыном. Сноха сдержанно кивнула.

– А я иду и думаю, – вешая пальто и шапку, говорил Саня Елене, – главное, чтобы Генка дома был, а то у него вечно репетиции! Как выходной, праздник или вечер – так репетиции, сроду его не застанешь. Последний раз, когда приезжал, помнишь! – полночи сидел, его ждал. Правду говорят: кому война, а кому мать родная. У людей праздники, а у него – концерт.

– Какие у него теперь репетиции! – Елена махнула рукой, ушла в зал.

– Теперь у нас совсем другая музыка, – развел руками брат. – Теперь все в прошлом. Про все это я уже забыл.

– Как забыл?

– Да так. Ладно, что стоим-то! Ты проходи, проходи. Мать, сообрази нам ужин. Я пока сбегая, а ты, Павлуха, дядю Саню развлеки, покажи, как живешь. – Геннадий, накинув шапку, вышел.

Саня заглянул в комнату племянника. На полках, где раньше, как помнил Саня, были книги и висели старый пароходный штурвал и барометр, теперь стояли бутылки разных видов с яркими наклейками. Свободные от увешенных плакатами с машинами и Шварценеггерами стены были заклеены разноцветными пачками из-под сигарет. На столе стоял телевизор, на его экране мелькали пестрые картинки. Павлик лежал на диване.

– Да, Павлуха, большой ты стал. – Саня так и стоял в дверях. – Ты в каком?

– В девятом.

– О-о! Вишь, как время летит! Сколько вы уж у нас не были? Года четыре? Ты хоть Леньку-то и Таньку моих помнишь? Как на речку ходили? Помнишь, как раков с ними ловили?

Павлик пожал плечами:

– Помню... – Он нажимал кнопки маленького пульта, и картинки в телевизоре послушно менялись. За неестественно красочным мультфильмом замелькали машины, падающие и взрывающиеся, стреляющий негр, томные глаза красавицы с гундосым голосом за кадром.

– Ленька-то мой школу заканчивает, хочет в техникум поступать. А ты куда думаешь?

Павлик, не оборачиваясь, молча пожал плечами. Стукнула дверь. Отряхивая шапку, вошел Геннадий, заглянул в комнату к Павлику и в зал, взяв за плечо Саню, поморщился:

– А ну их. Пошли, братка. – И повел его на кухню. Там на плите кипел чайник. Стекла окон запотели.

– Хорошо хоть чайник поставили. Но мы с тобой не с этого начнем. Садись, не стой. Сейчас все организуем. Минуточку!

Геннадий высыпал на стол из принесенного пакета колбасу, консервы, лимоны, тонко нарезанную, упакованную рыбу.

– Ну, как там деревня? – Геннадий распаковывал, раскладывал все на тарелки.

– Да как? – Саня, улыбаясь, пожал плечами. – Все в порядке. Считаю, перезимовали. Все вроде живы-здоровы. – Он подумал, почесал затылок. – А, ты ж, наверное, не знаешь, Васька Лобанов умер.

– Да ты что! Мы ж с ним за одной партой сидели! И что с ним? Болел, что ли?

– Да какая болезнь! Вот от этого. – Саня показал на шкаф, на котором стояли разномастные бутылки. – Дряни какой-то, то ли спирту технического напился, да не один. Где-то на станции, в Кудеяровке, ночью цистерну с техническим спиртом вместе с друзьями вскрыли и по канистрам разлили, а на другой день он на свадьбу к племяннице в Брусланово поехал, порадовать сестру хотел. Привез две канистры и угостил. Хорошо, жених непьющий попался, молодые хоть живы-здоровы остались, а всю свадьбу, считай, полсотни человек, машинами в область возили, в реанимацию, а кому полегче – в районную больницу. Семь человек умерло, человек пятнадцать поослепли от этого спирта.

– Ну а Васька?

– А что Васька? Васька хоть и виновник, да сам же первой жертвой пал. А сколько народу погубил! Ну а дружков его, которые с ним вместе спирт воровали, искать кинулись. А что их искать-то? Туда же их, в ту же реанимацию и свезли.

– Да-а. – Геннадий помолчал, отставил бутылку Rasputin и, глядя в налитые рюмки, вздохнул. – Сань, давай «со свиданьем», за твой приезд.

– Ну, давай. – Саня взял рюмку, отвел ее в сторону комнат: – А как же Елена-то?

Геннадий выпил, поморщился, махнул рукой:

– Ладно... Приглашали...

Саня глядел то в рюмку, то на брата.

– Ехал вот... О тебе все думал. Как приеду, рад, думаю, будешь, да и сам я рад, братка. Думал, расскажу, какие новости у нас. А что-то вроде не с того начал...

– Так расскажешь еще! Ты ж не завтра назад?

– Да не знаю. Как получится. – Саня опять пожал плечами.

– Ты на них, что ли, смотришь? – Жуя, Геннадий вилкой показал в сторону зала. – Да ладно, брось ты, не хотят – как хотят. Не обращай внимания, все нормально. Ты пей, закусывай. Ты так приехал или дела какие?

– В техникум надо сходить, узнать про прием...

– Лешка поступать собрался? В какой?

– Да не знаю пока. В сельхоз или ветеринарный.

– Есть еще строительный, железнодорожный.

– Да нет, я думаю, пусть лучше по сельскому хозяйству учится. Не хочу, чтобы совсем из деревни уехал. Пусть работает, я дом ему построю.

– Э-э! Это, братка, он тебя не спросит. В армию уйдет, оттуда – в город и жди его потом обратно! Давай с тобой смирновочки выпьем, мать с отцом помянем. – Геннадий разлил по рюмкам.

Выпили, не чокаясь, молча закусывали. Санька, оглядев со всех сторон красивую этикетку, отставил бутылку. Подумав, сказал:

– Ген, ты не обижайся...

– Чего?

– У тебя картошка есть?

– Есть. – Геннадий, не вставая, открыл дверцу шкафчика под раковиной, показал на сетку с картошкой.

– Я вот вижу, закуски у тебя всякие, лимоны, водка аховская... А, может, давай, картошки сварим.

– А чего – давай!

Санька взялся с удовольствием чистить карошку.

– Без нее все равно не наемся никак. Сколько этих разносолов ихних не ешь, а картошечка – первое дело!

Геннадий покопался в ящике стола, достал второй нож, сел рядом.

Молча, сосредоточенно чистили. Санька вдруг вспомнил:

– Так ты сейчас где работаешь? Музыка бросил, что ли?

– Второй год уже. Последнее время работал я с тремя заводскими хорами. С хором машиностроительного завода даже звание народного получили. Как все наладилось! Ездить стали от заводов в экспедиции, песни записывали, обряды. Девки мои из хора только – только загорелись, чувствую: стали понимать песню народную, всю ее глубину... А тут – перестройка. Сократили народ на заводах в два-три раза, коллективы разбежались, да и ставки руководителей хоров убрали. Оказалась музыка наша, да и все народное творчество никому не нужными. Да не только творчество, а и сам народ-то никому не нужен стал. И я с ним вместе остался без копейки со своими двумя высшими образованиями. Месяц потужил: жена, Пашка растет, а у меня в кармане – ни копыя. А тут ларьки открываться стали. Покрутился – покрутился я – нигде работы нет! Представляешь, какие мысли могут быть: мужику сорок лет, а семью прокормить не может. – Геннадий бросил картошку в кастрюлю, брызнув водой. – В общем, братка, пошел я в киоск работать.

– Э – э! Вон откуда всего-то...

Брат будто бы не расслышал, продолжал. С сердцем. Видно, наболело.

– А ведь я только-только перед этим дом начал строить. Всю жизнь мечтал, как отец, сам дом построить. Что, думаю, в двухкомнатной тесниться будем? Пашка вырастет – женится – куда будем деваться. У меня тогда ото всех работ, хоров и халтуры двадцать тысяч на книжке лежало. Взял участок, только-только фундамент заложил да кое-какой матерьялец подкупил, а тут тебе – раз! И деньгам крышка. Что на них, на те деньги, бутылку водки купить и напиться? В общем, занялся я стройкой сам, тем более времени с этим ларьком стало навалом: сутки работаю – двое отдыхаю. И ты знаешь, порода, что ли, наша такая – все, кто у моего Пышкина, хозяина, работает, потихоньку тащат, а я не могу, но и чувство такое теперь, будто голова моя в плечи ушла, вроде стыдно, что ли. А торговать, братка, значит, воровать, а я воровать не умею, да и не хочу.

С этим домом, со стройкой-то моей, все сначала затормозилось, а потом подумал я, подумал: ну ладно, время теперь плохое, а когда ж оно было хорошее для нашего брата – простого человека? И, ты понимаешь, думаю, строить сам буду, все экономнее, дешевле обойдется. А дешевле, я тебе говорю, значит, хуже. У меня с этой музыкой, особенно народной, никому теперь не нужной, – руки-то лишь к баяну приставлены были, – ни топора, ни мастерка толком в руках не держал. Вот и начал я сам дом свой колбасить. Собаку завел для хозяйства, чтоб матерьял не воровали, а заниматься ей некогда. И так как-то все наперекосяк пошло...

Вышли на балкон покурить. Геннадий захмелел, смотрел вниз с балкона, заметно нервничая, ворошил волосы. Бросив вниз окурки, глянул на брата заблестевшими глазами:

– Ты вот смотришь на меня. Так? Молчишь, думаешь, что все у меня есть: и квартира, и дом, и машина в гараже, и харчи эти заморские. А ты знаешь, все у меня в жизни теперь какое-то ненастоящее. Водка, вот эта самая, что мы пьем – думаешь, настоящая? А дом мой? И дом тоже будет не настоящий, как попало сляпанный. Я вот сижу ночью в своей будке и думаю, времени у меня думать – черт-те сколько, и думаю: а где же она, настоящая жизнь-то? У Пышкина, что ли – хозяина моего ларька? Нет, таким я никогда не стану, да и не хочу: есть-пить на золоте и перед каждым пресмыкаться. Я же знаю, что на его крышу, которой он кланяется, есть крыша повыше, в любой момент приедут, пальчиком так помянут: «Ты смотри, Бузе не отстегивай, приедет – скажешь, Корявый крышует, понял»? Домой приду – в кресло или на диван. Баян в пыли, два года не притрагивался, боюсь, что уже и разучился. Зато – телевизор. Тут уж сел и кнопками на шоколадке щелк-щелк, даже с кресла встать не надо. С канала на канал. И ведь умом понимаю, что несет он ложь, чернуху, разврат, темноту душевную, а вырубить его рука не поднимается. Да что тебе говорить, сам небось вечерами не отрываешься?

– Да нет. Телевизор-то есть, только смотреть его некогда. Хозяйство. Да и то, правда, что говоришь: уж больно он в душу гадит, я потому и не гляжу. Эротика эту тоже Петька

Красников как-то приглашал мужиков посмотреть, пока его баба на базар ездила. Ну, я тоже пошел. Еле отплевался потом. Мужики – ничего, сидели, ржали, а я ушел, вроде дела какие. Домой не мог. На речку ушел подальше, где никого нет. Сижу на бережку и думаю: а как же, если мать представить так-то или сестру, или жену, или, не дай бог – дочь. Ведь у них, кто такое кино снимает, видно, что-то с головой случилось. Как же они-то об этом не думают? Я часто теперь так-то на речку хожу, туда, где старая ветла. Помнишь, ты там тонул, когда рыбу удили? Сижу на бревне и тоже, о чем ты говорил, о жизни настоящей думаю. Вот я, к примеру, кручусь со своими свиньями, коровой, покосом и хозяйством, считай, без денег который год. И день за днем, год за годом одни и те же заботы крестьянские: картошку бы посадить да отсеяться, да чтоб погода была убраться, да каких только забот нет, братка, сам знаешь, – Саня засмеялся. – А посижу вечерком на бревнышке, пока солнце за речку сядет, ветер стихнет, а особенно весной! – да нет! – хоть и грязно у нас, и канители этой деревенской много, а жизнь вроде бы настоящая. За одно только душа болит, это ты верно сказал: ребятишки подрастают, махнут в город, а там что: тоже в ларьках сидеть?

Брат сидел, внимательно слушал. Поднял голову, посмотрел на Саню.

– А ведь была она, точно, была и у меня жизнь настоящая. Когда и есть особо нечего было, и валенки у нас с тобой одни на двоих. А вот страха перед «завтра» не было. Его ведь, счастья, если посчитать, оказывается, в жизни много было. И очень-очень оно простое, о чем и не подумаешь сразу. Вот ведь ерунда: первое, что помню, – то, как вы меня с Петькой Красниковым летом, а день был жаркий-жаркий, в корыте по речке катали.

– Да? А я и не помню.

– Конечно, ведь у тебя уже другая радость была тогда – Зойка. Волосы у нее тогда были выгоревшие, как солома, веснушки и коленка разбитая.

– Ну, братка, вспомнил!

– А потом ты в первый раз меня в ночное взял. И пошло-покатилось мое счастье в гору: сома здоровенного поймал на закидушку, какую ночью поставили на лягушачью лапку, потом в Тайку влюбился на покосе. А дедов дом, хлеб бабушкин, а дороги за деревней – сколько и у меня этого счастья набралось. А ведь все это, братка, вечное. И если этого у человека не будет, жизнь его будет ненастоящей. Вот сейчас все заговорили: жизнь раньше хреновая была. А ты по песням посмотри. Что пели раньше: «Калина красная», «Белым снегом», «Ой, ты, рожь». Слова-то какие, душа в них. Да и прежде них песни какие были, и все в них настоящее, живое, родное. Сейчас скажут: наивно! Да, наверное. А я думаю так: в русском народе всегда и эта наивность была и светлость какая-то. Иначе в песнях бы этого не было и не вспоминались бы они теперь, когда их уже сто лет ни по радио, ни по телевизору не слышно и не видно. А от того, что крутят – уши заворачиваются. Ведь, ты понимаешь! – на два голоса уже никто из певцов не поет! А почему, подумай! А? Да потому, что каждый о себе думает, о кармане своем. И все! Да ты дремлешь уже, утомил я тебя своим разговором?

– Да нет, я слушаю.

Геннадий поднял бутылку, качнул ее. На дне чуть плеснулись остатки.

– Тогда давай допьем – и на боковую.

– Не, я больше не хочу.

– Ладно. Я тебе сейчас здесь постелю. – Геннадий разложил диван. – Ну, давай спи. –

И ушел.

Выключив свет, Санька закрыл кухонную дверь, лег на диван. Минуты две из зала слышался громкий недовольный шепот, затем в дверь заглянул Геннадий:

– Ты еще не спишь?

– Нет.

– Я с тобой лягу? А то там...

– Ложись.

Улеглись. Санька лежал с открытыми глазами и по дыханию брата слышал, что тот тоже не спит. Тогда он шепотом заговорил:

– Ты про песни старые говорил, мол, теперь на два голоса по телевизору никто толком петь не может.

– Ну.

– А вот у нас в деревне, как сам помнишь, всегда народищу за столом собиралось, и каждый в свой голос пел, в наших старых песнях места всем голосам хватало. Зато как пели!

– Да-а...

– А если с гармошкой, да по улице, да за деревню выйдешь, тут, кажется, что не только внутри тебя, а и все вокруг – сплошная душа! И поет она и радуется. В городе, думаю, вот так-то запой, ничего не выйдет. И получается: подрой у деревни корешки, и душа народа испарится. А я как-то сижу на бревнышке своем да себе и думаю: ведь в природе нашей такая сила красоты, что ли, этой, что даже изведи мужика нашего совсем, вчистую, а через десять лет забрось на эти бурьяны да косогоры по нужде городского, обязательно по нужде! – она, природа, его выправит, вдохнет душу, через землю, через труд, через ту жизнь, которая в деревне была, есть и будет: с лошадыю ли, с трактором, но по сути – настоящая.

Из-за стенки, из зала, послышался глухой недовольный голос Елены:

– Вы там спите, или чего?

Санька замолчал. А Геннадий шумно вздохнул:

– Эх, жизнь!

– Что, нелады?

Геннадий сел на диван, громко зашептал:

– И ты, понимаешь? – ведь как любил ее, когда учился в институте – света белого не видел. И помучила ж она меня! Помнишь, зимой приезжал я к вам?

– Это когда на каникулы?

– Какие там каникулы! Сессия была на носу, а у меня от Ленки сплошные душевные травмы. Честное слово! Это я матери так тогда сказал, что каникулы, а сам просто от нее уехал, как от себя. С вокзала даже телеграмму ей дал: «Странствую. Тоскую безмерно. Идальго.»

– Это какой?

– Та-а, неважно. – Геннадий встал, выпил остаток из рюмки, открыл форточку и закурил. – А я готов был для нее... В Киев летал! – представляешь? Она в больнице лежала, мы в колхозе на сельхозработках были, так я почти каждый день на попутках за полсотни верст к ней добирался. Сидим с ней на скамеечке у больницы, она тихая такая. Как, говорит, мне торта киевского хочется. Я ей – ни слова, из больницы – в аэропорт, и через два часа – в Киеве. – Геннадий засмеялся. – А там, представляешь, в магазинах их нет, тортов этих. Нигде! Другие есть, а киевских – нет. Только по благу. А я прилетел как этот... Иду по Крещатику, парочка сидит на скамейке, такие же студенты, как и я. Я подошел, а ведь сроду людей стеснялся, извините, говорю, так и так, где бы мне торт купить. В общем, пообещали они мне через своих знакомых достать и наутро у этой скамейки встретиться. Ночь провел в аэропорту, а утром магазины еще раз обошел, купил на всякий случай пару тортов. Не киевских, конечно, но, главное, из Киева! Стою у лавки. Вижу, девушка идет, вчерашняя, и торт несет, киевский. Я ее чуть не расцеловал. А с другой стороны – парень ее и тоже торт несет. Я тогда чуть от радости не запрыгал. Бегу в аэропорт, таксисту два первых своих торта отдаю и через два часа я уже у больницы на лавочке сижу. А ее в это время подруга проводывала. Сидим втроем на скамейке, а ножа у нас нет, так мы шпилькой, что у подруги нашлась, торт режем и едим. Представляешь, шпилькой! – Он показал в воздухе, как резать шпилькой. – Когда женился, сам своему счастью не верил, думал, на руках носить буду всю жизнь. А прошло два-три года, – и куда все подевалось? Как чужие. Я, как ругаться начнем – все шпильку эту про себя вспоминаю. А она уже, наверно, и не помнит.

Геннадий примял сигарету, закрыл форточку, зябко поежился, достал из холодильника бутылку:

– Еще по чуточке?

– Нет, Ген, я не буду. И так хорошо.

– Как хочешь, а я выпью. – Он плеснул на дно стакана, поглядел на свет бутылку, вылил остатки. Вышло больше полстакана. Он выпил его, пожевал лимонную дольку. Тяжело сел на диван. Зажмурив глаза, скрипнул зубами.

– Санька, братка... – Он тяжело задышал носом. – Ты счастливый человек. Ведь мне тоже там надо... лежать, где мать с отцом. А я здесь. И никому не нужен.

– Ген, чего ты?

– Эх, братка, один ведь раз живем, и то шепотом. – Он вдруг громко заговорил: – А что, мы с тобой – не люди, что прячемся? А мы с тобой – вот что...

Геннадий взял табуретку, вышел в прихожую, полез на антресоли, громко говоря оттуда:

– ...мы с тобой вот что! Соберу-ка я свои манатки да завтра с тобой вместе и поедем домой, в деревню. Нам ведь надо соскучиться в этой жизни друг по дружке... Мы ведь уже давно-о не скучали, – говорил он в сторону зала. Он вошел в кухню с пыльным футляром, поставил его на стол, достал оттуда баян. – А сегодня мы с тобой устроим праздник! Для всех! И для себя в первую очередь! Мы с тобой сейчас по улице пройдем! А?

Он надел лямки, дернул слипшиеся меха. Из зала Елена подняла голос:

– Зубарев! Ты с ума сошел? Время полвторого!

Вместо ответа Геннадий заиграл и громко, словно куражась, запел:

Спорить, милая, не ста-ану
Знаю сам, что говорю.
С неба звездочку доста-а-ну
И на память подарю.

Дальше было!.. Тварь! Пьяная морда! Саня, не обращай внимания!..

Саня шел по пустым темным улицам. Шапка осталась где-то в шкафу. Искать ее он не стал. На душе было пусто и тоскливо.

Гусиха

Большим и веселым селом было когда-то Никольское. Две сотни серых бревенчатых домов рассыпались по обеим берегам речки Каменки, с легкой и чистой водой, запруженной двумя плотинами, на одной из которых стояла мельница. С большака, выбежавшего перед селом из низины и бежавшего дальше, в центр волости, село открывалось сразу. Радостно, празднично голубел на холме, огибаемом речкой, купол небольшой, аккуратной церквушки Николы с золотящимися на храмовой маковке и колокольне крестами. Дома и с церковной, Верхней, как ее называли в селе, стороны, и с Нижней Никольской, стояли одним порядком и глядели через речку друг на дружку, на церковь и просторные перед ними зеленые выгоны с вечными, как казалось, гусями, привязанными козами и бегающими ребятишками. Перед церковью дома Верхней стороны разбегались, сделав полукруг и скромно, по-семейному, по-детски стояли возле матери-церквушки, окруженной низкой каменной оградкой.

Таким Гусихе село помнилось давно, с далекого теперь детства. С тех пор пробежало по нему тревожное время, уводя за собой на войну, в недалекую столицу или в райцентр сначала мужиков, а потом и детей. Муж Гусихи, молодой веселый мужик, успел лишь выстроить дом, родить дочку и, прожив с Гусихой четыре года, не дождавшись рождения сына, ушел в Гражданскую и пропал, не подав весточки. Девочка, Анютка, родилась слабенькой и в голод померла, а через неделю после ее смерти у Гусихи родился мальчик. Так и не дождавшись мужа, жила Гусиха одна, работая без продыху в колхозе и воспитывая своего Ванюшку, но и того забрала потом война.

Дом Гусихи стоял на бугорке, напротив церкви, и тогда еще, до войны, ей хорошо запомнилось, как сначала закрыли ее на амбарный замок, как затем стали ее разорять, сняв сначала кресты, а потом железо с купола и крыши. В одну из ночей, когда половина железа была снята и на церковных воротах висела лишь одна створка, перекрестилась она на потускневший, без креста, купол и пошла с Ванюшей в церковь. Гулко отзывались их шаги в сводах опустевшего храма. Нижние чины иконостаса были разорены и валялись разбитыми, но в приделе, в верхних ярусах, увидела она иконы и, помолвившись на них: «Господи, Пресвятая Богородица, прости меня, грешную», подставила руки и плечи, чтобы Ванюшке было способнее их достать.

Лет пять стояла так-то церковь. Одумавшись потом, колхозом перекрыли ее наскоро, сделали в ней школу и клуб. После войны поставили недалеко от церкви маленький обелиск-пирамидку со звездой и именами сельчан, не вернувшихся с войны, обнесли низкой оградкой и посадили в ней три березки. Потом ребятишек в селе стало мало и перевели их в школу-восьмилетку, в соседнее село, а в церкви несколько лет держали зерно. А когда в одну из осенних дождливых ночей что-то гулко ухнуло в ней, и наутро, выглянув в окно, увидела Гусиха неестественно светлое нутро трапезной с рухнувшим в ней сводом, ее совсем оставили в покое. Как старого человека, брошенного помирать своей смертью.

За церковью обветшало, запустело и село. С годами от двух сотен домов осталась сотня, да и тех, в которых постоянно жили старики, осталось всего с полтора десятка. В то же время ширилась столица, пухла, росла, тяжело дышала в затылок деревне. И уже не из деревни, а в нее потихоньку потянулись дачники. Аккуратные, как заметила Гусиха, вежливые такие. Покупали дома у разбежавшихся по свету наследников, летом потихоньку ковырялись, как и старики, на огородах, купались и удили в речке у развалившейся мельницы. Осенью собирали соленья, банки, мешки с картошкой и съезжали к себе в город, оставляя стариков прежидать долгую зиму.

Без родни жилось Гусихе тяжело. А последнее время совсем плохо. Без мужиков дров на зиму заготовить некому. И ходила она с санками в лесок, за деревню, собирая там хворост, дотаскивая их до дому в четыре передышки, считая в холодной избе дни до долгожданного

тепла. Неподалеку от Гусихи жила товарка ее, дальняя родственница, лет на пять моложе, кума Варвара. С ней коротали они вдвоем зиму, ходя друг к дружке в гости. Была Варвара вдовой, сын и дочь давно жили в Москве. В один из звонких весенних дней, когда провалилась земля, Гусиха с Варварой сидели на скамейке у дома, грелись на полуденном солнышке и вспоминали, как несколько лет назад, когда пошла, как говорила Варвара, послабка церквям, ездили они с Варвариним внуком в город, говорили в соборе с батюшкой об их церкви.

– Что церкви-то даром стоять, пропадать? У нее еще стены крепкие, ломом не возьмешь. Дал бы ты нам, батюшка, священника какого, пусть нам послужит. У церкви алтарь-то целай, служить можно. У Марии, вон, иконы с нее сохранились, какие разграбить не успели. Помаленьку, может, ристаривать ее?

Священник, держа руки на животе и наклонив голову вбок, внимательно выслушал старух, степенно, округло, по-деревенски спросил:

– У вас двадцатка-то есть?

Бабки переглянулись, Гусиха растерялась, чего-то устыдилась, суетливо полезла в карман, вынула мятые рубли с мелочью.

– Варь, я не знаю, по десятке-то найдем?

Батюшка засмеялся, взял старух за руки, оглядывая обеих добрыми веселыми глазами.

– Да что вы! Не о том я. Кладите ваши деньги обратно. Я про «двадцатку» говорю: нужно, чтобы набралось двадцать человек в приходе. Заявление напишите. А без этого нельзя. Не разрешат власти.

– А вы как же? – смущенно кладя деньги в карман, спросила Варвара.

– Я-то? А я не власть, я – церковнослужитель. По нынешним законам – лицо, как бы наемное. Двадцатка в приход собирается и священника для службы приглашает. Такой порядок теперь.

Возвращаясь обратно, старухи всю дорогу рассказывали наперебой Варвариному внуку, какие теперь в церкви порядки.

– Вот ведь, – не переставая удивляться и сокрушенно хлопая себя по щекам, говорила ему через плечо Гусиха. – Попа, прости господи, – и нанимать! Как работника какого, – и в церковь!

– Греха- то сколько! – поддакивала Варвара. – Двадцатку им надо обязательно. Бог знает что!

Внук, куря и выпуская дым в приоткрытое окно, слушал старух и, встряхивая головой, поинтересовался:

– Так вы за этим, что ли, только и ездили? Делать, что ли, вам больше нечего?

– Дурак ты, Димка. Нехристь, что твой отец. Даром, что его в последний год, как церкву закрывали, и окрестили. Марксизму он в институте обучает! И чему этот марксизм учит – церкви только ломать? А господь любить учит. А у церкви нашей... – Она назидательно постучала Димку пальцем по плечу. – Вся родня твоя лежит. Семь колен, – я и не знаю, – может, и больше. И всех и крестили, и венчали, и отпевали там же. Всех. А тебе, Димка, все, видать, равно! Ты и деда, поди, уже не помнишь.

Димка пожал плечами.

– Да откуда я его помню, деда? Знаю только, что большой был, на коленке меня качал.

– Да, здоровый и добрый был, Митрий. Тебя-то Митрием по нему назвали. Да и родился ты перед Митриевской субботой, как и он, у вас один святой – Димитрий. Мать вот только твоя: Дима, Дима! А ты ведь Митька. Тот же Митька Бихтеев, как и дед твой.

– Не Митька я, а Дима! В паспорте – Вадим.

– Господи! Да откуда ж ты Вадим, когда у нас сроду таких имен в родне не водилось. Тебя и в метрике Митрием записали.

– То, бабань, в метрике, а у меня теперь паспорт. А ты меня все: Митька, Митька! Приехали. Мне некогда, я назад поехал.

Как-то летом приезжали в село студенты. Два дня возле церкви ходили, обмеряли, записывали. Сначала спрашивали у старух, что помнят, что знают о церкви.

– Помнить-то я ничего и не упомяну, – говорила Гусиха, – знаю, что престольный праздник у нас на Николу вешнего, ярманка два раза была: на Николу и на Покров. А почему на Покров еще – кто его знает. Два престола в ней было. С той стороны маленькая пристройка была, ее еще до войны разорили. Коровник хотели строить: ломали – ломали, кирпич взять хотели, да и бросили, ни одна кирпичика цельного не взяли.

– На яйцах, наверное, клали? – записывая в тетрадке, спросил Володя, старший. Почему-то улыбаясь, спросил.

– Уж не знаю, на яйцах ли, только, думаю, на совести больше.

Володя и студенты засмеялись.

– А вам для чего мерить-то надо? Иль реставрировать церковь собрались?

– Нет, бабушка, мы к сожалению, только паспорта составляем на памятники архитектуры, обмеры делаем, а придет время, – может скоро – дойдут и до нее руки.

Он, прищурившись, глядел на силуэт церкви.

– Да, лет ей, действительно, ровно двести. Тысяча семьсот восемьдесят седьмой. Русский классицизм, безо всякой провинциальности. Очень хороший мастер строил ее: маленькая, а монументальная, и поставлена удивительно хорошо, просторно, хоть и в самом селе.

Гусиха смотрела то на церковь, то на Володю. Показав рукой на церковь, нерешительно спросила:

– А ты, это... Про год-то откуда... На ней, что ли, где написано?

Володя улыбнулся:

– Да нет. Церковная хроника, архивы. Мы, прежде чем обмерять, источники сначала изучаем. Земли эти еще при Иване Грозном дарованы были Дмитрию Бехтееву за казанский поход. Тут он построил деревянный храм во имя Покрова. А во второй половине восемнадцатого века, когда церковь обветшала, его потомок Николай Бехтеев построил новый, каменный. А главный престол заменил на Никольский, и деревянную церковь не ломал, пока не освятил новый храм, а на том месте, где был алтарь старой церкви, выстроил небольшой придел во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Потому и село именовалось с тех пор: село Никольское, Бехтеево тож.

Гусиха заволновалась, пошла в избу, через полчаса вышла к калитке, глядя, как Володя и двое студентов слезали по оконной решетке с церковной стены. Дождалась, пока они, отряхнув штаны, обернулись в ее сторону, махнула им рукой, приглашая обедать.

В избе Володя рассматривал иконы.

– Бабушка, а что это за икона у вас?

– Которая?

– А вот эта, черная.

– Этой иконой меня мать с батюшкой благословляли, когда замуж выдавали. Черная вся, и какой святой на ней – уже не знаю. Знаю только, что господь глазами всех святых меня видит и не забывает. Она и тогда вся черная была. Главное – намоленная.

– А вы что, бабушка, вы всю жизнь одна, и вдова и без детей?

– А я на бога не ропщу. Он меня не оставляет. Я и когда дочку хоронила – не плакала, и когда муж с сыном пропали, богу ведь не жаловалась. У бога всего много: нынче ведро – завтра дождь. Ко всякой поре у него своя милость. Пензии, почитай, нет, так я картохи насажаю четыре сотки, мне много ли одной надо-то? Зимой-то вот хо-олодно, уж, кажется, не доживу, не дотяну, восемьдесят третий год-то, а и то не ропщу, знаю: весна придет, господь теплышко-то

даст. А уж по теплышку я – где ползком, где ничком, помаленьку картохи попыряю в землю-то, и жди – не горюй, когда ее копать!

Володя постоял в углу, внимательно рассматривая икону, слушая старуху, кивал головой и рассеянно говорил:

– Угу... Угу-угу...

За столом показал еще раз в красный угол:

– Этой иконе, бабушка, цены нет. Шестнадцатый век. Икона местная.

– Местная, местная, как же ей не местной-то быть!

– Нет, бабушка. Местная в том смысле, что делалась по месту, на иконостас. Она наверняка с той деревянной церкви, что разобрали в восемнадцатом веке. Сюжет, правда, не прослеживается, уж больно черна икона.

Он достал блокнот, взял ручку.

– А вы, бабушка, родом здешняя? Ваши, простите, как имя-фамилия?

– Спокон веку здешняя. Села Никольского Шатовской волости. С третьего года. А имя – Мария Николаевна Гусева, это по мужу, а по родителю я – Бихтеева...

Уходя, уже как бы с сожалением, что не посмотрелся на икону, Володя сказал Гусихе про нее:

– Ей, бабушка, в музее место. – И вышел. Гусиха перекрестила его в спину, прибираясь на столе, замерла, глядя в глубь черной доски, тихо сказала:

– И не в музее ей место, а в церкви. – Она вздохнула. – А даст Бог, может, и сделаем церковь-то.

Мысль эта не оставила Гусиху. Поговорив с Варварой, стали они потихоньку вечером по праздникам заходить в церковь, ставили иконки на камень, молились, читая по памяти молитвы, какие помнили. Боялись, что, может, грех совершают, молясь в оскверненном храме и прося за это в молитвах прощения.

Разговор со священником в соборе не прошел бесследно. Спустя несколько лет приехал на машине молодой священник, с мягкой вьющейся бородкой. Собрал стариков, кто остался еще в селе, и сказал, что он, отец Владимир, через неделю приедет освятить для службы храм, что его благословили окормлять Никольскую церковь и что на первое время нужно заколотить окна, закрыть двери, чтобы в храм никто не лазил.

На первую службу пришли, как на праздник. Гусиха принесла храмовые иконы, которые долго хранила, не мечтая увидеть их на месте. На собранные с пенсий крохи сделали и поставили на храме крест, забили окна и двери. Медленно поднимались стропила, решетилась крыша. Медленно, очень медленно, несмотря на то что уставший на семи окормляемых им приходах с такими же полуразрушенными храмами, отец Владимир по нескольку раз в неделю заезжал в Никольское и, словно прораб, разговаривал с рабочими, доставал и привозил доски, гвозди и подтоварник, искал железо на крышу.

В один из теплых сентябрьских дней, копая на огороде картошку и потихоньку снося ее по полведра к подвалу, Гусиха заметила, сначала на выгоне, а потом за огородами, людей с какими-то приборами. Отложив дело, она понаблюдала, как мужчина расставлял возле церкви треногу, смотрел в установленный на ней прибор, щелкал пальцами и махал руками другому мужику с длинной раскрашенной рейкой, затем подошла к нему и, когда он оторвался от прибора, чтобы записать что-то в блокнот, спросила:

– Вы не церковь мерите? Ее уж мерили. Лет пять, студенты. А вы уж, я вижу, не студенты.

– Нет-нет, мать, – торопливо ответил мужик с треногой. – Съемку делаем. Газ будет у вас, стройка.

– Какая стройка?

– Да вот тут, наверное, на выгоне, раз снимаем... – И крикнул, махнув рукой напарнику: – Серега, давай к левому углу!

Гусиха всполошилась, побежала к Варваре.

– Вишь, ходют! Сымают, говорят.

– Ну и что, пусть ходют, жалко, что ли, может, для церкви чего сымают.

– Коли б для церкви, а то, слышь, чего удумали: строить, говорят, на выгоне будут.

– Ой господи, кто ж догадался выгон застраивать?

– А ты помнишь, в восемьдесят втором либо в восемьдесят третьем приезжали так-то сымать, у меня ночевали. Планов и тада много нагородили, выгон чтобы застроить. Зачем он вам, говорят, у вас и коровы перевелись, чтоб на выгоне пасти, и гусей, считай, тоже. Мы, говорят, село ваше подымать будем, чтоб жить в нем удобно было, как в городе, землю нарежем по шесть соток, пусть земля не пустует.

– Ага, они нарежут!.. Умники...

– Я им тогда говорю: я хоть и темная и планов ваших не понимаю ни грама, а вот я вам чего скажу. И говорю им: вот ты, мил человек, где рос-то, в деревне ай в городе? В городе, говорит, и учился на это пять лет, все нормы нужные знаю. Нормы, говорю, может, ты и знаешь, а жизни ничуть. Он, было, обиделся. Погоди, говорю, обижаться, я скажу, как знаю, а там хоть обижайся, хоть как хочешь. Вот смотри, говорю, в окошко. Чего видишь? Чего, говорит, вижу: ну, траву, говорит, пруд, дома на той стороне, церковь вижу, холм вон там, за деревней, лес на нем. Вот, говорю, правильно. Для того так-то со старины поставлено, чтоб глазу вольно было. Во-он я куда гляжу, до самого лесу, и ни во что глаз не упирается. Я вот сижу у окошка, кудель пряду, глаз пристынет близко смотреть. Я его в окошке-то и отогрею, глядя на лесок. Коза опять же у меня перед домом вольно пасется, нынче здесь, завтра – подальше. «Улица» – ведь это «улица». А то перед лицом забор стоять будет или дом, глаз мой кругом утыкаться будет, а козу или гусей на дороге рази напасешь.

– Тах-та, тах-та ты его...

– Ну, говорит, если я про одни только взгляды думать буду! Постой, говорю, не все еще сказала, что хотела. Вот, пускай вы нарежали по шесть соток.

– А чего хоть по шесть-то, ни картошку посадить, ни сад?

– Вот и я ему то же. Он говорит: норма. Какая ж, говорю, это в деревне норма, когда мы картошки одной самое меньшее три мешка сажаем, а кто и по восемь мешков. Смо-о-трит, не верит. Не веришь? Ты где картошку берешь, говорю. Он: в магазине, а когда на базаре покупаю. Так ты, говорю, по себе и судишь. А мы что, с земли-то с нашей тоже на базар поедем? А кто же тогда картошку растить будет, а? Мнется, гляжу. Я вот, говорю, выйду на крылечко, ай в окошко гляну – вот она, церковь-то. И каждый со своего крылечка церковь видит. А поставь перед домом такой же дом, он все и закроет. А потом, как же у этих хозяев, которым эти сотки нарежут, огороды в пруд заборами глядеть будут? Ни себе, ни людям. Ты прикинь-то, пруд заборами окруженный; малый-то ты неглупый, вижу. Ну, говорит, бабка, положила ты меня на обе лопатки. Кругом права. Сам смеется.

– Ну и чего?

– Да чего, на большаку тогда два этих дома построили, новые которые и все, духу не хватило. Деревню хоть не испортили. А эти теперь опять, видно, плантуют. Чего они там наплантуют?

Город рос, жирел. И текла в нем неведомая, непонятная чужая Гусихе жизнь, и стала эта жизнь постепенно проявляться в Никольском.

Съемку, действительно, делали не зря. Приезжали какие-то люди на богатых машинах. Гусихе видно было, как махали они руками возле церкви. С ними районные начальники, сельсоветские, кивали больше головой. Медленно, важно подходили «сытые», как называла их Гусиха к дачникам, вели сквозь зубы разговоры, вода вокруг руками. И стали с того времени эти спокойные, тихие дачники исчезать, а на их месте изредка появлялись другие люди, не жившие в домах, а лишь ходившие, что-то прикидывавшие. Деревенским стало ясно: деревню

скупают. А самое невероятное, что говорили, будто купили и землю под выгоном возле церкви. Приезжал и отец Владимир, так же служил в церкви, так до конца и не покрытой, и вместе с ним появлялись эти сытые, стоявшие со свечками в храме и молившиеся как-то гордо, как думала Гусиха, скромно стоявшая вместе с Варварой всегда сзади них.

Зимой нагнали техники и в два дня сломали целый порядок домов, затем стали размечать выгон и копать. Гусиха с Варварой тихо сидели вечерами в доме и глядели на все происходящее с каким-то страхом. Слово и на улицу им выходить было нельзя. Обе жили еще страхом от того, как приходили к ним раза по три люди, предлагая им продать дома. Других уговорили, выторговали за большие, как рассказывали, деньги, увозили их со скарбом на больших машинах: кого в район, кого к детям, которые радовались большим деньгам, кого, говорят, аж в Москву. Так, к зиме весь порядок Верхнего Никольского был скуплен. Оставались только Гусиха с Варварой. Варвару уже уговаривали не только новые люди, но и сын ее, Толька, часто приезжавший к ней на выходные. Гусихе казалось, что наваливается на нее сила грузная, страшная оттого, что непонятная.

Правда, на удивление скоро обставили церковь лесами и в неделю крашенный, недавно поставленный на собранные гроши, крест, заменили на новый, золоченый. Старухи только удивлялись, как быстро заблестел новым крестом и верх колокольни, застучали внутри церкви молотки; выгадав теплые погожие дни, скоро покрасили свежей яркой краской верхние ярусы храма. А рядом скоро, словно тыквы на огороде, росли, закрывая от деревни церковь, двух-трехэтажные дома, неожиданно быстро проявившие лоск: чужой, заморский и какой-то неживой. Верхнее Никольское полностью огородили сеткой-забором, поставили на въезде охрану, и старухи без нужды не выходили теперь на другой край деревни и в лес.

С трудом передвигая ноги, перетерпела Гусиха и эту новую, необычную зиму. В апреле, в последние холода, ходила Гусиха в лес, за хворостом и, уже выходя из лесу, встретила двух парней в камуфляжной теплой форме, предупредивших бабу, чтоб не шаталась по лесу, потому, что хозяин не велел.

«Господи, – думала Гусиха, – у леса уже и хозяин объявился, как жить-то теперь», и безропотно вернулась домой. В этот же вечер, не дождавись Варвары, которая обещалась прийти скоротать вечер, пошла к ней домой сама и застала ее уже остывшей.

– Ох и господи! – голосила Гусиха. – Что же мне теперь делать, как жить-то одной? Да что ж ты не сказала, не окликнула, не позвала! Варюшка моя! Ох, да что же за жись-то у меня теперь будет! Ох, да и мне теперь пора! Как бы мне с тобою рядышком-то! Ох, и Ва-а-аря!

Голосила, изливая, выплескивая наружу всю тяжесть, нагруженную на нее за девять десятков годов, тянувших и выматывавших из нее все жилочки. По ком теперь не кричать ей, как по Варваре... Больше не по ком. Это знала она и выкрикивала все, до последней капельки, чтоб не осталось ничего от этой горькой, тяжелой, никому теперь не нужной жизни.

Во время похорон Гусиха как-то будто выстыла, собралась, сделалась прямая, будто познала она какую-то истину. После отпевания Варвары в пахнущей краской церкви, перед режущим глаза золотом иконостаса, заплакавшись до самого дна, подошла она к отцу Владимиру, спокойная, проясненная.

– Грешна я, видно, батюшка. Мучусь: как же церкву-то от людей отгородили?

– Не мучься, купили землю эту возле храма.

– Да как же купили-то?

– Да. Купили. Законы теперь позволяют. Нет греха в том, что есть у людей деньги. Они ведь на храм деньги дали. Видишь, как поднялась наша церковь за полгода.

– Ох, не знаю я, батюшка, радоваться ли этому, только думаю, что как все церкви заблестят, да вот так-то, разом, так придет антихрист. Не радует меня, грешную, а вот думаю только, что лучше б на наши-то копеечки, потихоньку мы бы церкву сами подняли. Пусть без блеска да золота такого, а людям всем на радость. Мы люди-то терпеливые, главное, что на нас Сам

Господь хоть и через черную икону, а смотрит, как смотрел он на прадедов наших. А через эти – еще не знаю, прости господи!

В тот же день, после похорон Варвары, «сытые» окрутили Варварина наследника, Тольку. Подручные стряпчие сладили бумаги и на другой день, к вечеру, Толька был уже «готов», хвалясь Гусихе, как заживет он теперь в городе.

Гусиха выпроводила Тольку, не хотела слышать его похвальбу.

Прошло лето, за которое до неузнаваемости изменилась Гусихина сторона. Домик ее сиротливо смотрел через серые бревенчатые стены на меняющийся мир и ставшую игрушечной церковь, маленькими глазами окошек. Перед выросшими вокруг, кажущимися огромными, разноцветными домами в неделю появлялись газоны взамен вытоптанного, развороченного строительством выгона, изумрудно зеленевшего прежде под дождем шелковицей и гусиной травкой.

Пришла осень. Холодная, сырая. К Покрову Гусиха пожгла старую солому и слежавшуюся, размытую за долгие годы после перевода коров, кизячную кучу. С утра, под самый Покров, догадалась она сходить к речке, набрать, сколько было сил, сухого редкого тальника. К вечеру печь выстыла: бабка разделила кучку хвороста пополам. Утренняя порция, быстро прогорев, тепла почти не дала и Гусиха, сидя на кровати, ждала теперь, затягивая, пору вечерней топки. Когда ждать стало невтерпеж и она собралась топить, в избу, не спросясь, вошел парень в теплой куртке.

– Что, бабка, мерзнешь?

Гусиха молчала, глядя на парня снизу вверх, не пошевелившись.

– Дом не надумала продавать? Я бы взял за хорошие бабки, а тебя в квартиру перевезу. В Люберцы. – Парень стоял, оперевшись о дверной косяк. Здоровый, сытый, красивый, болтал цепочку с ключами на пальце. – Хочешь?

– Да по мне теперь, мил-человек, хоть бабки, хоть дедки – все одно – только тут помирать.

– Нет, бабуль, кислый базар у нас. Ты па-аду-умаи! – Он придвинул ногой табуретку, сел, поставив под нее ноги и, вращая цепочку, качался, словно танцуя однообразный танец. – М-м? – Он нехорошо улыбнулся. Говорил лениво, растягивая слова. – Не, бабуль, ну ведь замерзнешь. Конкретно замерзнешь. Мне ведь... – Он облокотился о стол, доверительно, как ему казалось, заговорил: – Чего место это нужно? Мне оно до фени, но братаны все, кореша здесь собрались, вместе оттягиваемся, и я хочу, чтоб час до Москвы не пилить, хазу себе здесь изваять. А че? Церковь тут, лес, вид отсюда у тебя классный. – Он нагнулся, выглядывая в низкое окошко.

– Ты-то, может, лес и видишь, а церкву от людей загородили – застроили, заборами отгородились, как в зверильнице...

– Меньше текста, бабуля. Я че-то не понял, я что – сегодня без покупки уйду?

– А я не торгую, да и тебя не звала.

– Тю-тю-тю, бабушка. – Он присмотрелся в угол, увидел икону. Помолчал, разглядывая. Зрачок его дернулся, он пожевал губу. Как-то вдруг успокоился, посерьезнел.

– Бабушка, ты меня извини, я пошутил тут как-то некстати. – Он снял шапку, пригладил волосы, внимательно глянул на старуху. Не отрывая от ее глаз взгляда, просто и тихо стал говорить: – Холодно тебе сейчас, очень холодно, ты замерзаешь здесь одна. Холодно, мерзнешь, а топить тебе нечем. Я добрый, очень добрый человек и очень-очень люблю старину. Очень люблю. И я тебе помогу. Хочешь? У тебя через три дня в доме будет тепло, газ, и никуда за дровами ходить не надо будет. А за это ты подарить мне эту икону. – Он, не отрывая глаз и не моргая, показал пальцем на божницу.

Гусиха отяжелела, не в силах пошевелиться и только через силу мелко помотала в стороны головой. Морщинки у глаз блестели слезами.

Парень взял шапку и, все еще не отводя взгляда, встал и сказал:

– Видишь, я тебя не тороплю. Подумай, а я завтра зайду, только смотри, ведь ночью будет холодно, очень холодно...

Он отвел взгляд, вышел, и словно оборвалось что-то у старухи. Она опустилась на подушку и с трудом поджала ноги.

Ночь была невыносимо длинной и холодной. Старуха так и не смогла подойти к печке, чтоб зажечь в ней остатки вчерашнего хвороста. Ей казалось, что она лежит на снегу возле крыльца и никак не может встать, сделать три шага, чтобы войти в теплую избу. Мимо нее, хрустя снегом, прошли ее отец, мать; весело, с гармонью прошел ее молодой муж; подтащив санки, неуклюже и смешно переваливаясь, поднялась на крыльцо укутанная шалью до глаз ее маленькая дочь. Затем из темноты вышел Ванюшка, вернувшийся с войны, Варвара и вся старая, почти забытая, родня. Все они проходили мимо, не замечая ее, лежащую в снегу, и у нее не было сил крикнуть им, позвать, чтобы подняли ее и отвели в тепло.

– Господи, – думала она, – ведь им же не тяжело отнести меня в избу. Их же много.

А они все входили в избу и выходили из нее, по-прежнему не замечая Гусиху, и было так холодно, что все застыло у нее до самого сердца. А ночь была длинной, бесконечной, а снег все шел и шел, засыпая ее, и было от этого невыносимо больно.

Она с трудом открыла глаза, удивляясь тому, как могут еще веки скользить по ледяным полушариям глаз. В избе было уже светло. Перед ней на табуретке сидел вчерашний парень.

– Ну, что, бабушка, как дела? Замерзла?

Гусиха еле кивнула.

– А я говорил тебе, – изо рта его шел пар. – Холодно будет, очень холодно. Давай, значит, так: печку мы уже сейчас топим, а мужики начинают рыть траншею под газ. Вечером у тебя в доме будет газ и тепло. – В окно было видно, что у дома стояла большая машина с будкой, баллоны, переминаясь на морозе, курили мужики. – Хочешь тепло?

Гусиха кивнула.

– Уговор наш помнишь?

Бабка сначала чуть заметно, потом крупно, задрожала. На подушке затемнели капли слез.

– Помнишь?

Гусиха закрыла глаза и тихо кивнула. Парень резко встал, подошел к окну и громко сказал в форточку:

– Виталя, начинай!

Мужики побросали курево, за окном загредел пускач, за ним зарокотал движок экскаватора, парень в красивой, ладной спецовке, занеся гору поленьев, умело растопил печь. Трое рабочих в таких же спецовках бережно перенесли старуху на печку, от которой в полчаса пошло тихое тепло, быстро и аккуратно занесли на кухню плиту и газовую печь, размечали мелом и сверлили стены и потолок, варили трубы, выводили их на чердак. Гусиха оттаяла, сидела, свесив ноги с печи, молча наблюдала за деловой круговертью, настороженно смотрела, как каждый час в избу заходил парень с повеселевшим взглядом, подмигивал старухе и следил, чтобы рабочие не останавливались. Гусиха совсем отошла, отогрелась, в избе стало даже жарко, и она, успокаивая себя, думала, что парень – хозяин своему слову и не так плох, как хотел показаться ей сначала, что ладно уж теперь, не последняя у нее икона, хоть и жалко, аж сердце замирает. Господи! – Она уж и не знала, что и думать.

К вечеру в доме уже было прибрано и расставлено по-новому, чтобы не мешать газовым приборам. Гусиха сначала робко, а потом уверенно указывала рабочим, куда что поставить. На дворе еще зарывали траншею с уложенной трубой, а парень, заставив «истопника» вымыть полы в избе, прошел по влажным половицам к блестящей плите, провел по ее краю пальцем, оглядев, остался доволен. Улыбаясь, показал на плиту рукой:

– Ну, вот, как и было обещано. Иди, бабуля, на инструктаж.

Он зажег газовую печь. Та тихо зашумела и в пять минут по трубам разлилось тепло.

– Вот так, бабуля. Паша слов на ветер не бросает. – И зажег плиту, поставил на нее принесенный в коробке чайник. – Подарок от фирмы, со свистком. Можешь звать на чай. Только завтра, сегодня у меня сейшен у Толяна. Спринтерский запой в ширину на двести литров. Держи спички.

Он сунул ей в руки коробок, встал на лавку, открыл киот и вынул оттуда икону. Мигнув бабке обоими глазами, вышел. Руки у Гусихи опустились, она смотрела то на огонь, то на чайник, то на пустой киот. Так и стояла и смотрела, пока чайник не засвистел. Громко, встревоженно. От этого вскрика она будто очнулась, отставила чайник, новыми глазами увидела изменившуюся избу, присев на лавку, глядела на синее пламя плиты.

– Господи! На что же я икону-то обменяла!

Так же, казалось, по-прежнему, чернел киот, но это была пустая, безжизненная чернота, какой никогда не знал этот дом. На полу, под божницей, лежала выпавшая из киота поминальная свечка. Гусиха подняла ее и заторопилась из избы.

– Мне бы только помолиться, прощения у нее попросить. Как же я, не помолившись, отпустила ее от себя?

В темноте ярко, словно новогодние игрушки, светились новые, холеные дома, и такой же яркой, подсвеченной игрушкой стояла церковь. Гусиха остановилась, не зная, куда идти. Оглядевшись, увидела у одного из домов машину и стоявшего рядом парня. Гусиха подошла к машине, не зная, как спросить. Парень был лысоват, без шапки, в блестящих ботинках на широко расставленных ногах. Из-под длинного широкого пальто на шее виднелся длинный белый шарф. Шевеля губами большого рта, он тихо и зло говорил в подставленную ладонь:

– Не, ты поаял? Ну? Меньше текста... Короче: скажи пацанам, чтоб мочили. Все! Я конкретно сказал. Кончай базар.

Бабка дождалась, пока большеротый опустил руку и повернулся к ней, и быстро, боясь, что он уйдет, заговорила:

– Мил человек, ты не знаешь, у кого иконка моя? Ты ведь их, этих-то, поди, всех знаешь? И Пашу этого. Мне бы хоть разок у нее прощения попросить, я только помолюсь ей, а то как же я с таким грехом помирать буду, мне бы только...

Большеротый перебил ее:

– Вали бабка, я не в духе. – И, засунув руки в карманы, неестественно широко расставляя ноги и глядя на блестящие квадратные носки ботинок, пошел к высокому крыльцу дома.

Гусиха стояла, глядя ему в след, надеясь, что он обернется, скажет ей про икону, ему-то ведь про нее Паша-то этот, верно, рассказал. Но большеротый, важно покачиваясь, поднялся на крыльцо, на котором по краям лежали два ничтожно маленьких каменных льва и, блеснув зеркальными стеклами двери, вошел в дом.

Гусиха пошла по дорожке вдоль сверкающих домов. У дома рядом, в большой, пузатой машине кто-то сидел и в открытое окно машины виден был точно так же одетый, как и большеротый, только очень толстый мужчина, умильно-картаво говоривший себе в ладошку:

– О-о! Это супе-э! Супе-э! Ну-у, что вы, неп-эеменно! Это гениально! По две штуки всего? Ну-у, это супе-э! Бе-эу, бе-эу. Да, завт-эа в офисе. О-о, это же!.. Конечно, конечно!.. Супе-э!

Пока ему там что-то кто-то отвечал и толстый, не переставая улыбаться, кивал головой, беззвучно похохатывая, Гусиха наклонилась к нему:

– Мил человек, ты Пашу этого не знаешь? Который икону... – Но стекло вдруг бесшумно и быстро скользнуло вверх, и в нем, как в зеркале отразилась стоявшая позади Гусихи церковь. Подумав, бабка пошла к церкви. В ней так же, как в домах, ярко горел свет. Она хоть и была открыта, но пуста, видимо, батюшка был в алтаре. Сверкающее золотом пространство церкви стало слепить глаза. Ей захотелось прикрыть их рукой, но в ладони лежал огарок поминальной

свечи, выпавший из киота. Она зажгла его от лампадки и, повернувшись, пошла из храма, пряча в черных ладонях трепетный огонек свечки.

Выйдя на улицу, она повернула не к дому, а направо, к темнеющим березкам. У ограды памятника она остановилась, открыла скрипучую калитку и подошла к потемневшей, давно не беленой пирамидке со звездой. Свечка осветила табличку с тремя фамилиями сельчан: Бихтевы, Веденевы, Гусевы и из всего длинного списка нашла нужное имя: Иван Гусев. Читать она не умела, но строчку эту, за которой видела своего сына, она знала хорошо. Поставив свечку в середину каменного венка у подножия пирамидки, она опустилась на колени и долго молилась словами молитвы, которую может знать только мать и долго, беззвучно плакала. Плакала и молилась, пока не догорела свечка.

У крылечка Гусихино дома стояла новая, желтая машина. В ней сидел и курил Толька. Увидев Гусиху, медленно подходящую к дому, он вышел, хлопнув дверью, окликнул:

– Крестная! Ты?

Бабка молча подошла к крыльцу, не в силах подняться.

– Теть Маш, давай помогу!

Гусиха отвела его руку, но сил не было никаких.

– Сейчас... отдышуся... Сама...

Толька подождал. Был он не пьяный, но отчего то нервничал. Поднявшись кое-как с его помощью и войдя в избу, старуха села на кровать. Толька сел у стола, теребил фуражку.

– Теть Маш, а ты чего меня давеча, на похоронах Иудой назвала?

Бабка вместо ответа спросила:

– Чего ездите-то?

– Кто, я? Тянет душу-то в родные места.

– Тянет. Тянуло б, давно жить бы переехал, построился, если изба тесная, а то попродали избы. Разжился, что ли?

– Да где там разжился! Машину вон купил. А на черта мне она! – У него заблестели глаза. – Сплю, теть Маш, а дом снится. Сегодня вот полгода матери, бумажки все дооформили по дому. С деньгами рассчитались совсем. А снится, как из окошка глядел, когда уроки делал. Нижняя сторона, лес...

– Да-а, теперь ему только и снится, дому-то. Теперь на нем этажи. Аж три! Да и из него видать теперь такие же, в три этажа, да забор. Вот радость-то. Попродавали, приедут в галстуках... Ты, думаешь, один такой ездиишь? Ленька вон Бихтеев, Витька Веденев тоже каждый год на Троицу приедут в галстуках так-то, на машинах, сядут на бережку, выпьют по бутылке, наплачутся, пьяные-то. Э-эх! Морды-то ваши красные за городскими утянулись... Что Москва? С носка дает? Ране ведь так говорили, знали кому какое место и где. Вам бы, здоровым-то мужикам здесь, на земле, и жить-то. А вы вот съехали за лучшей жизнью. Где она, жизнь-то ваша? Как воскресенье – опять сюда. Ну, поездите еще год-два. А внукам-то сюда и путь заказан будет. Вишь, огораживают все. Всю деревню, с церковью вместе. Лес, и тот купили. Мне вон мордovorоты ихние говорили: больше в лес не пустим.

Гусиха вдруг заплакала.

– Я-то тебя ругаю, а сама... Икону-то отдала. За тепло это. Не попрощалась даже. Ох, да на что же мне это тепло теперь? Грех-то какой... И отмолить негде. Ты меня, Толя, прости. Сама-то я какая грешница великая.

Анатолий тоже заплакал, затрясся, мелко стуча кулаком по столу. Бабка выдохлась, изнемогла за весь этот день, тяжело и мутно стало ей.

– Ох, Толя, уйди, сил нету больше. И свет погаси. Как же я устала... Иди. И прости меня.

Анатолий встал, нервно вытирая фуражкой глаза, зажмурился, как бы решаясь на что-то. Затем выключил свет и, нащупав в темноте ручки газовой плиты, открыл все конфорки и быстро вышел, плотно закрыв дверь.

И виделось Гусихе удивительное, чудесное. Из темного, но не пустого угла божницы тихим теплым светом явились ей сначала печальные глаза, а за ними кроткий и в то же время сильный облик женщины. И чем яснее он проявлялся, словно восставал из какой-то огромной, полной тепла и света глубины, тем яснее понимала старуха, что это – она сама, только молодая, наполненная могущественной, безграничной силой любви. И она, выйдя из избы, как из своего бревенчатого ковчега, вознеслась и летит над Никольским, рекой и лесом над всем родным для нее простором, укрывая его своим ставшим огромным платком...

Три на четыре

Николаю Василенкову

Машина стала вдруг, среди дороги. В кабине темно, не светился ни один прибор, молчал двигатель. Олег несколько секунд сидел, не понимая, что произошло, потом повернул ключ зажигания. Ни звука. Попробовал нажимать кнопки освещения салона, переключатель фар – ничего не работало.

– Та-ак... похоже, электроника накрылась, – сказал Олег и огляделся.

Ветер переметал через дорогу поземку. За забором, торчащим из сугробов, виднелись деревья, низенький сарай, дальше желтело маленькое окошко.

– Деревня какая-то. Или дачи. Хорошо еще, что не в чистом поле. Так, ладно... – Он привычно взял с панели трубку мобильного. Тихий свет экрана показал, что связи нет. Олег откинулся на сиденье:

– Кажется, не только электроника накрылась, но и встреча тоже.

В темноте светился желтый огонек окошка. К нему вела тропинка, по саду рваными ключьями летал дым из трубы. Олег вышел из машины и пошел на свет окошка. Домик оказался таким маленьким, какие бывают на железнодорожных переездах. Ни тамбура, ни сеней не было, лишь две расчищенные от снега деревянные ступеньки перед дверью, да навес над ними. Олег подошел к единственному окошку, стукнул.

За окном дрогнула занавеска, показалось бородатое лицо.

– Хозяин, можно?

Занавеска закрылась, тень за ней двинулась к двери. Открыл мужик, бородатый, в майке с прилипшими к ней стружками, со спокойными, внимательными глазами. Олег шагнул к нему.

– Здравствуйте. У вас тут телефона нет? А то у меня со связью проблемы. – Олег раскрыл ладонь с трубкой.

– Здравствуйте. Телефон? – Хозяин глянул на трубку, потом внимательно оглядел Олега. Ответил негромко, будто боялся кого-то побеспокоить. – Нет, телефона у нас в деревне нет. Только в Черемошном, там у них почта есть и магазин.

– А далеко?

– Девять километров.

– А до Мценска? Это же дорога на Мценск?

– Э-э, нет, вы, наверное, с московской трассы свернули? Около Ефремова?

– Да. Там в атласе дорога показана...

Хозяин усмехнулся:

– Дорога... Да вы заходите, заходите, что на пороге-то... – И, придерживая тяжелую занавеску, прикрывавшую дверь, отошел в сторону.

Олег шагнул в избушку. Изнутри она была не так мала, как казалась снаружи. В ней могло разместиться только то, что в ней было, и ничего лишнего. Впереди слева печка, занимавшая почти половину, перед печкой малюсенький закуток, а за ней виднелась кровать, стоявшая точно между стеной дома и печкой, справа – стол у единственного окошка и широкая лавка во весь простенок.

– Это вы с трассы свернули, сократить хотели? – Хозяин присел на лавку, привычно выдвинул из-под нее маленькую скамейку, подвинул ее Олегу.

– Спасибо, мне некогда, – мотнул головой Олег. – Мне трактор нужен, машину дотащить. Тут где-нибудь поблизости автомастерская есть? Я нормально заплачу. – И он сунул руку за пазуху.

Хозяин махнул рукой:

– Нет у нас трактора, у соседа вон только шестерка. А у вас какая?

Олег вздохнул:

– Мерс, минивэн. Две с половиной тонны. Шестерка не потянет.

Хозяин развел руки:

– Тогда конечно. Шестерка слаба. Ну, ничего, мой Мерс вас завтра дотянет.

– Мерс? – обрадовался Олег и потянулся к ручке двери. – А может, сейчас?

Мужик засмеялся:

– Нет. Мой Мерс отдыхает, я на нем только что дрова привез. Завтра запрягу и дотащу.

Олег не понял. Хозяин засмеялся.

– Конь у меня – Мерс. Лошадь.

– А-а... – Олег тоже улыбнулся, подумал: «А он, похоже, не намного меня старше. Борода вот только. Запустил. Или старообрядец? Разговаривает тихо». – Что ж делать-то...

– Что уж теперь, на ночь глядя... Распрягите своего мерса, закрывайте его, у меня ночуйте. Утром отволоку. Сейчас темно, да еще и метет, – я лошадь загонять не стану.

– Да нет... – Олег никак не мог сообразить, как быть. – Вот дела... – Посмотрел на часы. – У меня же дела сегодня. Встреча важная срывается.

– Ничего. Обстоятельства. Бывает. Пойдем глянем машину. Пойдем, пойдем, чтоб душа не болела.

Олег в нерешительности стоял, думая, как быть. Хозяин накинул полушубок, спросил:

– А может, и сами машину глянем, может, заведем?

– Да нет, там проблемы с электроникой.

– А-а, электроника... Я – по железкам. Ну, что, пошли? – И подтолкнул Олега.

На улице после света казалось совсем темно и мелко так, что следов Олега уже не было видно. Подошли к машине.

– Давайте ее на обочину чуть скатим. Или ничего, пусть стоит. Тут все одно никто не ездит. За день пять машин если пройдет... Здесь же граница районов. Это сегодня дорогу прочистили, она, наверное, вас в заблуждение и ввела. Кого-то из начальства районного на дальнюю ферму возили. Показывали, как скотина зимует.

Олег нашел в темноте спальник, сумки. На ощупь взял ту, в которой были продукты.

Мужик обошел машину.

– Да, хорошая техника, но не для наших дорог. Двери на всякий случай закройте.

Когда возвращались к дому, Олег снова удивился, какой же он маленький! Четыре стенки, одно окошко и труба. Когда-то в детстве дачки такие видел. Три на четыре.

Войдя в дом, от порога опять окинул его из угла в угол:

– А я не пойму: это у вас дача такая?

– Почему дача? Дом.

– А что такой маленький?

– Да чего ж маленький, все на месте. И хозяйство есть, лошадь, свиньи, куры.

– Так это деревня? А я в темноте не увидел. Света нет, темно, такая глушь!

– Глушь? Не-ет, это еще не глушь. У нас тут какая-никакая дорога есть, а вот есть места на границах областей, там дорог вообще никаких нет. Места бесперспективные.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.